

**УПРАЗДНЕНИЕ
МЕФИСТОФЕЛЯ**

АЛ. КОНОНОВ





А л . К о н о н о в

УПРАЗДНЕНИЕ МЕФИСТОФЕЛЯ

**хроника
событий и чувств**

**М о с к о в с к о е
т о в а р и щ е с т в о п и с а т е л е й**

1 9 8 4

1. ПРИБЫТИЕ ФИРСОВА

У перегородки из шершавых досок сидел редактор. Это был человек с зеленым ироническим лицом. Черные его брови ядовито змеились к вискам, точный нос висел над бумагами. Он остановил на Фирсове желтый саркастический взгляд.

Фирсов объявил о своем прибытии по путевке КИЖа.

Позади взорвался ликующий крик:

— То есть до чего ж вовремя!

Фирсов оглянулся. С пола, отрываясь от пыльных кирпичиков клише, поднялся взъерошенный человек.

Дальше события пошли комом.

Взъерошенный человек, оказавшийся литсотрудником газеты Менисом, начал завывать абзацы из своей статьи, — со спешными пояснениями:

— Понимаешь, латышский стрелок, потом шофер — биография! А теперь — красный мастер цеха. Красный мастер цеха, товарищ Урбан, бросает вызов... Тут снимок есть...

— Да погоди ты, Менис, — сказал редактор нетерпеливо.

Но тут фанерная дверь затряслась, в комнату рванулся человек в длинном лиловом пальто, в фетровой шляпе. Клетчатый шарф из рассказов Джека Лондона развеялся на его шее. Пальто от прямоугольных плеч стремительно суживалось книзу. Оно походило на лиловый восклицательный знак. Над восклицатель-

ным знаком гримасничало подвижное лицо, смеялись зеленые глаза.

— Э, бурократижи! Пишут. И все пишут, пишут!

Вошедший оскалил крупные зубы и театрално заворачивал огромными белками.

Редактор улыбнулся насмешливо:

— Это наш Леонардо. Знакомьтесь. Вот, Леонардо, товарищ Фирсов приехал нам помогать.

— Э, третий! Было два, теперь было три. Три — и все писал на бумажке.

Леонардо смеялся беззастенчиво и дружелюбно.

Дверь приоткрылась.

— А, инженер... Бурократ! — заорал вдруг Леонардо свирепо и шагнул навстречу заглянувшему в редакцию инженеру.

Фирсов опешил. Инженер, однако, улыбнулся и показал Леонардо кулак.

— Бурократ, идем в цех. Э, всюду так: давай, давай предложение. И когда предложение есть, тогда: буро рационализации ходит, буро производства ходит, контроль ходит, мастер ходит, Бериз ходит, инженер ходит, два, три инженер ходит. «Хорошо, хорошо». «Правильно, правильно». И два месяца: «Хорошо, хорошо». Два месяца: «Правильно, правильно». Идем в цех!

— Ну что ж? Испугал, подумаешь.

— А, может быть, можно потише? — ядовито спросил редактор.

Леонардо с инженером отошли в угол и начали там ругаться, тыча друг в друга пальцами.

— Куда ж мы вас поместим? — спросил Фирсова редактор.

— Слушай, Дымшиц, а если к Титкову? К Титкову, ясно, — сказал быстро Менис, не отрывая влюбленных глаз от своей статьи.

— Это который поэт?

— Ну да, который поэт. Там две койки свободны. Барак номер восемь.

В это время Леонардо отставил зад, надвинул шляпу на левый глаз и надменно поплыл по комнате, играя бедрами. Изображая кого-то, он пропищал поптичь:

— Так, так, так...

Инженер оглушительно захохотал.

— Шли бы вы, в самом деле, в цех, товарищи, — назидательно произнес редактор.

— Идем, бюрократик! — рванулся Леонардо.

— Ну, нет, я сейчас работаю. Давай вечером, — сказал инженер.

— Вечерняя смена я работаю. Вечером я буду молчать. Если ты сейчас работаешь, зачем ходишь в гости?

— Я не в гости, я про заметку узнать зашел.

— Ваша заметка, товарищ Корнаков, уже верстается, — сказал Дымшиц, редактор.

В комнату вошел измазанный сажей рабочий и, бережно подержав черной рукой ладони присутствующих, спросил:

— Ну, как материалец о котельной?

— Бюрократики, кто со мной в цех? — закричал Леонардо.

— Завтра зайди, — предложил Дымшиц. — Сегодня, видишь, некогда.

— Сегодня: «видишь, некогда». Вчера: «видишь, некогда». И два и три дня: «видишь, некогда».

— Менис, когда ты сможешь заняться предложениями Леонардо? Надо наконец дать о них статью.

— Я не успею. И завтра не успею.

Леонардо скорчил гримасу: уперся языком в щеку — щека вздулась волдырем — и развесил сиреневые губы. Потом сразу загрустил.

— Может быть, я возьмусь? — спросил Фирсов, с удивлением наблюдая мимику итальянца.

— В самом деле: может быть, ты возьмешься? — сказал редактор. — Только опять же не сегодня. Сейчас ты лови Титкова, он в вечерней смене работает.

На заводском дворе Фирсов почувствовал смутное разочарование. Кругом жались друг к другу приземистые здания; на их фронтонах кирпичными выступами были выложены цифры: 1902—1903. Новостройки в полном смысле этого слова не было. Завод реконструировался. Для новых цехов было изрыто поле до самой реки. Старые цехи работали. Убогая грузная готика наложила на их стены нелепый отпечаток. Наугольники, башенки по краям крыш, узкие угловатые окна... Стилевая установка готики — полет в небо. А здесь была придавленность, низкорослость, схожесть с провинциальным железнодорожным депо. Тюремно-молитвенный колорит лежал на мясистом красном здании главной конторы. Густой переплет маленьких окон походил на тюремные решетки. Крыша, башенки, двери, заостренные, как копьё, напоминали кирку в старых учебниках немецкого языка.

Фирсов взгляделся вдаль. Но там, в лохматом поле, виднелось только одно недостроенное здание. За ним была река, перелесок, железнодорожная насыпь.

Фирсов пошел разыскивать барак номер восемь, комнату номер тринадцать. Надо было попасть туда до обеда, чтобы застать Титкова.

Это был двухэтажный барак. Подходя к нему, Фирсов увидел толпу ликующих мальчишек. Уцепившись за дощатый карниз, коренастый человек пытался подтянуться к окну второго этажа. Его ноги скакали над долговязыми деревянными козлами. Он подпрыгивал, отталкивался от козел, царапал пальцами подоконник. Хилый карниз трещал, человек сползал обратно на козлы. Каждая его неудача сопровождалась на-

смешливым воплем мальчишек, расположившихся внизу шумным лагерем. Наконец он отчаянно подскочил и повис на подоконнике, показав небу тугой зад с четырехугольной на нем заплатой. Повисев, человек занес ногу в раскрывшееся окно и исчез.

Мальчишки, взвывая в унисон, умчались с места происшествия.

Тринадцатая комната находилась за общежитием студентов-практикантов. Общежитие занимало огромную неразгороженную комнату, уставленную койками в три ряда.

В разных его концах симметрично сидели у окон две женщины и кормили грудью младенцев. Лохматый юноша истязал балалайку.

В конце общежития была надпись: «К. 13». Фирсов постучался. Открыл парень с золотистыми волосами. Выслушав Фирсова, он сказал:

— Вери уолл. Тебе везет.

— Почему?

— Потому что я и есть Титков. А вери уолл — английское слово. Язык — в массу! Без меня бы ты не вошел сюда. А я сам — через окно. Еле влезешь, — высоко, чорт! Тебя, значит, Дымщиц прислал?

— Дымщиц. Но зачем же — через окно?

— Ключа нет. Потерян. А замок английский, ломать жалко. Так и лезу каждый раз через окно. Известность приобрел. Смехаечки!

— Ну, мы заставим коменданта дать другой ключ.

— Правильно! Займись со свежими силами.

Титков повертелся, посвистал, отыскал кепку, оказавшуюся почему-то под кроватью, и ушел обедать.

Оставшись один, Фирсов вынул блокнот. Первое впечатление — самое ценное. Об этом говорил Прокофьев в КИЖе. Об этом исписаны многие страницы. Первое впечатление — трамплин для прыжка в область новых восприятий.

Фирсов начал старательно перебирать события дня, не забывая мелочей. С отгорчением он увидел на них печать обыденности.

Утром —

поезд. Сизые стрелы теней. Они летели рядом с вагонными окнами. Это оттого, что в тыл поезду смотрело раннее солнце. Фирсов торопился затянуть потуже дорожный мешок, и пока подушка с вялым упорством лезла из мешка, он пытался еще раз представить себе панораму новостройки. Он враждебно пресовал подушку кулаком. Краны, экскаваторы, бетонированные колонны вырастали перед ним с убедительной картинностью. Предстоящий день мог стать для него экзаменом.

Конечно, все оказалось не таким.

Железнодорожный мост, прыгнув, разорвал небо чертежом своих скреплений и исчез в грохоте.

Это был конец пути.

Река раскрыла плоские ладони берегов с неумело собранной на них пригоршней деревянных строений.

Скучный циферблат станционных часов был рассечен пополам усатыми стрелками: десять девятого.

На станции Фирсову показали самую короткую дорогу на завод — через поле, напрямик. В поле умирала картофельная ботва и смазывала слизью подошвы. Какие-то серые домишки, видимо, обреченные на снос, лепились неприглядной кучей в стороне от новых барачков. Они были соединены между собой гирляндами развешанного на веревках мокрого белья. Хмурый мужчина в калошах на босу ногу кормил хлебом козу. Дальше — ржавая проволока висла на кривых березовых кольях, рыжий песок горбился у котлованов. Над котлованами буднично цвела ругань и негромкая песня. Люди в лаптях ходили кругом неспеша.

Итти становилось трудно. Рытвины, канавы, обломки строительства стлались под ногами.

У колючей проволоки новая будка сияла на солнце сосновыми досками. Из нее вышел человек с винтовкой. Фирсов обрадованно шагнул к нему. Часовой сказал строго:

— Пропуск!

Оказалось, что за пропуском надо итти в обход, — в контору. Часовой показал на невнятное здание в далекой груде барачков. Снова начались рытвины, холмы — земля натужливо горбилась. Мешок стал тяжелым. Фирсов перекинул его за плечо и сейчас же получил толчок в спину: бранясь, его обогнал парень с зеленым сундуком. Парень был разъярен тяжестью ноши и пережитыми где-то неприятностями. Он таранил сундуком всех встречных и оставлял за собой ворох ругательств. Бородачи в лаптях наделяли его обидной цветистостью сравнений. Прыгнув через рытвину, парень поскользнулся и упал на свой зеленый сундук.

Увидев над собой Фирсова, он вдруг засмеялся.

— Стало быть, закуривать? Запарился.

— На стройку? — спросил Фирсов, так как парень ждал разговора.

— Да вот хожу кругом да около. Гоняют и гоняют. По всей территории. С крокодилком.

Он толкнул ногою сундук.

Здание, к которому направил Фирсова часовой, оказалось конторой второго участка. Пропусков здесь не давали. Пропуска выписывала главная контора; она помещалась где-то в другом конце строительства.

Фирсов протянул охране свою путевку; его пропустили после раздумья.

Подоспевший сзади парень был задержан — его посылали в главную контору. Он вступил в пререкания с охраной. У него оказался пронзительный тенор.

Его звонкие крики сопровождали Фирсова до самого заводууправления.

В канцелярии заводууправления чахлая крашенная девушка объяснила Фирсову, как найти помещение заводской газеты.

Потом — незапоминающаяся суета в редакции.

Приземистые здания на заводском дворе. Лохматое поле, колючая проволока, песок над вырытыми котлованами.

Панорамы строительства не было.

Фирсов с горечью вспомнил, как у известного писателя рабочий восклицает, обводя широким жестом картину новостройки: «Погляди, Мирон, какая красота!» И Мирон смотрит восхищенно.

Про себя Фирсов сомневался, действительно ли рабочий любовался заводом и в процессе любования восклицал. Это — занятие зрителя. Но все-таки писателю-зрителю было что навязать рабочему для восклицаний.

А здесь первый день не дал ни одной записи.

Фирсов вздохнул и захлопнул блокнот.

Первого впечатления не было. Экзамен не состоялся.

2. ИТАЛЬЯНЕЦ И КОРОВА

Когда на следующий день Фирсов пришел в редакцию, Леонардо уже ждал его. Дымшица не было.

Менис спросил Леонардо, подмигивая Фирсову:

— Ну, так как же насчет женщин, Леонардо? Белла филька?

Леонардо заготовил и, взяв линейку, начал водить ею по ладони с непристойным ритмом.

Ухватками и лицом он напоминал актера. Или, может быть, фокусника, жонглера.

— Бюрократик, идем, — сказал он Фирсову, сделав строгое лицо.

— Почему я бюрократик?

— Да он всех так, — махнул рукой Менис. — Слушай, тут Дымшиц просил тебя пойти с Леонардо в цех и написать статью о его предложениях. А перед тем загляни в коопбюро с этой запиской. Коопбюро напротив — по коридору.

— Не надо коопбюро, — скривился Леонардо, — не надо «загляни».

— А макароны? Нет, зайди, Леонардо, зайди.

Завкоопбюро сидел в фанерной клетке. Клетка была ему не по росту. Он обиженно трогал пальцами розовые от лишая щеки. В полуметре от него забила в угол курьерша. Погнувшаяся жест чайника блестела у ее рукава рыбьей чешуей.

Завкоопбюро встретил Леонардо настороженно, готовясь дать отпор.

— Макарон нет, — сказал он, вертясь на стуле. — Хочешь, выпишу круп?

— Ну, круши... Давай крупы, — согласился Леонардо рассеянно.

Завкоопбюро писал, пыхтел и скрипел стулом. Стул подломился, завкоопбюро упал на пол с виноватой улыбкой.

Курьерша заметила:

— Это в тебе харчи гуляют.

Слово «харчи» было для Леонардо новым. Он вдумывался в него, следя за поправляющим стул завом.

«Хар-чи» вызвали представление о чем-то разящем, суровом, жестком.

Но тут Леонардо вспомнил, что он забыл посмеяться. Он захохотал, обижая зава, считавшего происшествие законченным. Он продолжал хохотать в коридоре. Собственный смех вызвал в нем устойчивую веселость, и он запрыгал вниз по лестнице через три ступеньки, оглядываясь на Фирсова — за сочувствием.

Придя в цех, Леонардо сразу стал серьезным. Он

взял плохо оструганную рейку и, держа ее перед собой строго, как боец винтовку, начал подбирать слова. Слов оказалось мало. Он огорчился и произнес:

— Темпора! Понял?

— Температура?—с торопливой готовностью спросил Фирсов, вытаскивая из кармана блокнот.

— Э, нет! — Леонардо сморщился, словно проглотил что-то кислое, и поглядел на Фирсова с недовольством. — Темпора! Ну, хорошо. Вот смотреть сюда.

Он показал на ту часть рейки, где дерево вздыбилось веером. Это был «задор».

— Не надо так. Надо — вот!

Леонардо начал имитировать ладонью движение машины, строгаящей дерево. Потом вынул записную книжку:

— Если так, то ф-р-р!

Листки книжки встопорщились под его ногтем.

— А если так, то...

Он погладил листки с ласковой медлительностью.

Неслышно подошел пожилой рабочий, большелобым лицом и очками похожий на профессора.

— Э, Дульнев, говори! — закричал Леонардо.

Дульнев взял рейку и кашлянул вежливо.

— Он, стало быть, хочет пилить дерево в другом направлении. Чтоб слои приходились при распиловке иначе; тогда и задора не будет.

— А можно это сделать? — спросил Фирсов.

— Да ведь... как его угадаешь, дерево? Оно круглое. Слои идут кружком. А все ж, думается, можно. Только оптик в этом деле нужен.

— Инженер?

— Нет, наш инженер не может. Тут оптик нужен. Ну, практик, что ли.

Леонардо вслушивался. Не все слова были ему понятны. Но сомнение на лицах он давно научился рас-

познавать, даже когда оно скользило еле заметной тенью, не заползая в глаза. Глаза Дульнева были закрыты голубыми очками.

Леонардо рассердился:

— У капитализм можно? И у социализм можно!

Тогда Дульнев позвал мастера.

Рыжеватый мастер подошел, самолюбиво улыбаясь.

Леонардо ему надоел. Суетливая неутомимость итальянца вызывала в нем враждебное удивление.

Он сказал:

— Дело в следующем. Распиловку производит лесопилка. А я мастер деревообделочной.

— Мастер деревообделочна, — произнес Леонардо меланхолически.

Он взял два бруска, длинный и короткий, и сблизил их. Шпунты в них не сошлись. Леонардо сморщился:

— А! Плохо!

— Правильно, плохо, — согласился мастер и объяснил Фирсову: — Это вертикальный и горизонтальный бруски для дверей вагона. Дело в следующем: Леонардо все воюет, чтоб отверстия в них разделять фрезом.

— О! Фрез маленький. Давай фрез маленький! Не надо руками. Не надо время капут!

Мастер скучно поглядел на оживившегося Леонардо.

— Да тут кромка не пустит, ты ж пойми!

Леонардо подумал, топыря нижнюю губу. Слова «кромка» не было в его лексиконе.

На всякий случай он сказал:

— Я делал фрез маленький — готово, хорошо.

— Да ведь дело в следующем: фрез-то в лесопилке.

— Запилка! Я был запилка. Фрез маленький, хорошо.

— И в лесопилку забрался, — покрутил головой мастер.

— Идем! — рванул итальянец Фирсова за рукав.

Он повел его в другой конец цеха. За ними неслышно ступал мастер.

Тихий запах сохнувшей сосны бродил кругом. С ним не ладился требовательный визг циркулярной пилы.

Рабочие провожали Леонардо доброжелательными насмешками. Видно было, что его клетчатый картинный шарф и неистовая мимика прочно вошли в обиход цеха.

Леонардо помахал кому-то рукой, скаля зубы. Фирсов увидал вблизи эту руку: широкопалая, с раздавленным большим пальцем, с сеткой серых трещин на ладони, — она изобличала в щеголе-иностранце стажированного столяра.

Леонардо схватил доску и вытащил из кармана рулетку. Желтая лента, рванувшись, зашипела и поползла за его рукой по краю доски.

— Надо двенадцать сантиметров. Не надо семнадцать. Пять сантиметров — капут. Хороший дерево — капут. И брак, и брак, и брак.

Фирсов пометил у себя в блокноте.

Мастер обиделся:

— Ну, дело в следующем: вы пишете, товарищи, а я пойду. Вам писать, а нам работать нужно.

Он ушел, скрипя стружками. Леонардо не обратил внимания на его уход и, подыскивая слова, обводил зелеными глазами цех.

Потом вспомнил:

— Темки!

Он пошарил взглядом по лицу Фирсова, поймал на нем недоумение и повторил, оглядываясь:

— Темки.

Стоявший у ближайшего верстака рабочий положил на верстак циклю и пояснил:

— Потемки — это отверстия в рамочных и дверных брусках.

— О! — обрадовался Леонардо. — Давай машина! Не надо восемь человек руками. Надо два человека... Надо один человек!

— Он хочет, — сказал рабочий, — разделять потемки на фрезерном станке.

— Фрез! — Леонардо удовлетворенно вздохнул.

После этого он долго водил Фирсова по всему цеху, показывая на нерассортированное дерево, на кудрявый от стружек пол, вытаскивал из углов брак, чмокал языком и брезгливо оттопыривал лиловую губу.

— И брак, и брак, и брак... «Давай, давай предложение». Не предложение! Систем, порядок!

У входа он хлопнул ладонью по фанерному щиту. Щит был разделен зеленой краской на клетки. В клетках были: рак, черепаха, корова, конь, паровоз, автомобиль, аэроплан. У ног коровы лепилась надпись: «Деревообделочный цех». У коровы был печальный вид. Ноги ее разлезлись в разные стороны, один рог повис, — глаза были набожно подняты ввысь. На корову с соседнего агитщита глядел фиолетовый человек; его борода, состоящая из шести волосков, каждый толщиной с оглоблю, стерегла рот, жадно охвативший бутылку.

Тут снова подошел мастер и, беспокоясь, сказал:

— Дело в следующем. Он, Леонардо-то, думает, что мы не учитываем всего. А мы учитываем. Он сам не учитывает. Задор бывает еще от тупых ножей. Ты это учел, Леонардо?

Итальянец щелкнул ногтем по пегим коровьим ногдям:

— Давай бороться с коровой, мастер деревообделошна!

Фирсов пошел в лесопилку. Там он увидел, что дерево вначале разделяется на четырехугольные бруски, а потом уже на доски. Это смутно указывало на какой-то выход, на возможность реализации предложения Леонардо. Однако нужен был совет опытного инженера.

На дворе Фирсов встретился с обладателем зеленого сундука. Тот неожиданно обрадовался:

— Во-от! Где ночуешь?

— В восьмом бараке.

— А меня к семейному рабочему вперли в одну комнату. На работу приняли, а помещение — погоди. В восьмом бараке кто помещается?

— Там общежитие студентов.

— Зайду!

Когда Фирсов — поздно вечером — вернулся домой, в комнате номер тринадцать оказался новый жилец. Зеленый сундук стоял рядом с ним. Владелец сундука домовито пил чай. Он оказался Верейниковым Петром, бетонщиком.

Теперь все три койки в комнате были заняты.

3. ВЕЧЕРА ИНЖЕНЕРА КАНЕВСКОГО. РАЗГОВОР С МЕФИСТОФЕЛЕМ

Инженер Каневский медленно идет по аллею. Он поглощен тем, что скрывает от себя цель прогулки. Деревья пестры от птичьего помета. Вечера отмечаются здесь гулким базаром галок.

Вдали на повороте завывают трамваи.

У сквера, на черный от недавнего дождя асфальт ложится желтый лист. Нарядная грусть.

Инженер Каневский думает о том, что все люди ранены тоской. Тоской по несбыточному или по минувшему. Может быть, это замаскированная боль от сознания, что собственная гибель неизбежна. Люди

лечат свою боль пластырем: любовью, общественной работой, революцией, искусством, семьей. Пластырь оттягивает боль. Под старость она слабеет сама по себе. Человек тупеет, старится, уходит из жизни. Он уступает место другому, и этот другой тоже выбирает себе пластырь. Чтобы легче пройти жизнь.

Каневский сворачивает в переулок.

Над смутными домиками, на желтом небе далекая стая птиц борется с ветром и падает, как брошенная вкось горсть гороха.

Переулок горбится захолустно.

Женщины, распаренные, идут с медными тазами — из бани.

Молчаливая церковка пялится в небо темным куполом.

Инженер Каневский думает: это из прошлого. В сегодняшнем дне оно — случайное.

По мелочам можно восстановить целое.

Раньше вот такие же женщины — их мысли не шли дальше соседнего двора — приходили домой, дома к чаю были баранки, дети тянулись — «мама, дай» и хныкали загодя, притворно. Отец, выпавший после работы, лохматый, шурился на самовар и скручивал цыгарку. Мимо окна медленно шел попик по переулку, в сумерках. Галки кричали бесприютно, стремясь на ночлег. Их крики оттеняли уют невысоких домишек. И — еще: лихач летел с купцом, у купца — енотовая шуба, бобровая борода. Все это — быт, по-своему полнокровный.

Инженер Каневский жалеет прошлое и стыдится своей жалости. Он думает о том, что у него самого нет быта. У него для этого не оказалось нужных корней, он не врос в жизнь.

Переулок вливается в улицу. Огромное здание смотрит на домики переулка квадратными окнами — глазастро и равнодушно.

Студент-грузин идет по мостовой в одной кавказской рубахе, без шапки. Он несет две дыни. Октябрьский ветер шевелит его волосы. Южный, сизый румянец покрывает его узкое лицо, угловатое, как чертеж. Огромные брови, нос, треугольники скул разлиновали этот румянец. Студент обнимает дыни, смеясь. Навстречу ему смотрит закат, зубы грузина становятся розовыми. Он идет, конечно, в общежитие, он сворачивает к дому с квадратными окнами. Несет дыни себе и товарищам. Товарищей много, дыни — две. Вокруг дынь будет смех, крики, незатейливые шутки. Потом разговор о Рионгэсе. Или, может быть, о Фейербахе.

Инженер Каневский думает о том, что это тоже быт. И в этом быту он тоже чужой.

У него не оказалось корней, ему трудно врасти в жизнь.

Но при чем здесь набережная? Она лениво выгнулась серой дугой, слишком знакомая. Огни фонарей уже плавают в черной воде. Так же, как и вчера.

Хорошо изученный подъезд возникает перед ним, волнуя. Уже не нужно скрывать от себя цель прогулки. Окно во втором этаже, третье от угла, не освещено. Как и вчера.

Тогда он поворачивает назад.

Дома он вытаскивает из письменного стола кипу бумаг. На первом листе чернеет крупная надпись:

Разговор с Мефистофелем.

Он, морщась, перечитывает.

«Началось это еще в гимназии. Отравленная юность моя! Пыльный траур школьных скамеек, гулкая тоска коридоров, вицмундиры, кондуиты. Тигровый глаз пивной на синем вечернем снегу. В пивной скользкие столики плывут в смрадном тумане. Сделанное невеселое русское веселье. А потом — желтые

фонари, лунные полотнища на сторбленной мостовой. Леонид Андреев, безнадежность. Тоска, тоска. Просторная ночь сжимает сердце. Юность... Как много дорог! Я пошел по торной и пыльной. Я не выбирал ее; она сама легла передо мной, утопанная поколениями. У меня нехватило зоркости, чтобы свернуть в сторону.

Но и тогда уже, тоскуя, я знал о другой жизни.

Я слышал, не вслушиваясь, иные слова.

И уже тогда, как и сейчас, эти слова — «борьба», «социализм» — шелестели у меня на губах сухо, как бесплодная шелуха.

И мне кажется, что даже на бумаге, выведенные моим пером, они хранят мою интонацию и выглядят напряженно и мертво.

Может быть, потому, что дело, скрытое за этими словами, было очень далеко от меня. Я тосковал по далекому. И мой Мефистофель нехотя подымал свое обглоданное злостью лицо: «Подумаешь, нужно тебе все это! Тебе нужна красивая женщина, ресторан в палевых огнях вместо этой пивнушки, хорошая квартира, карьера, поездка в Париж, в Италию. Даст тебе все это жизнь, — и тоску твою как рукой снимет».

Это неверно. Я спорю. И вот —

два десятилетия тянется мой разговор с Мефистофелем. Тошнотворно и неотвязно мерцает во мне сознание непрерывающейся паутины лжи.

Я решил записывать диалог с Мефистофелем. Дневник? Как избито. И затем — для чего? Ну, хотя бы в назидание потомству. А в самом деле: когда меня не будет...

И вот слышится голос из далекого и почти не подвластного мне угла сознания: «Врешь, не для потомства. Плевать тебе на потомство. Ты всю жизнь ведь только о себе и думал. Для себя пишешь. Пытаешься заткнуть черный провал своих вечеров. И сам зна-

ешь, что потом эти листки уничтожишь. Ты будешь единственным читателем собственных мыслей и собственной лжи».

Вот этот голос я и называю своим Мефистофелем.

Он уличает меня во лжи. Он развенчивает жизнь и часто бывает неправым.

Я правдивее многих. Тех, кто не замечает своей лжи. Для них ложь — жизненная необходимость».

Правда, дело было у профессора Бошко Аполлона Антоновича. Там сказать просто нельзя. Нужен парадокс, метафора, щеголеватый росчерк доводов. Каневский ответил Ротбергу (настойчивость этого человека становилась тягостной):

— Мы живем в коридоре. В нем жить неудобно. Но коридор необходимая вещь. Мы вышли из комнаты прошлого и не вошли еще в залу будущего. И нам слишком людно, громко, неудобно.

Ротберг повернул свое лобастое худое лицо.

— И только? Ну, тогда, конечно. Отсидеться в коридорчике — спокойней.

Вот как! Это в профессорской квартире называется, должно быть, сдержанным сарказмом.

— Впрочем, не лучше ли, — сказал Каневский, — назвать этот коридор по-иному? Тоннель... Тоннель в будущее. Работающие в тоннеле не замечают неудобств. Или нет — замечают, конечно. Но, поглощенные трудным своим движением вперед, они из-за этих неудобств не так страдают, как мы: у них впереди цель; просвет растет, скоро в него хлынет солнце. Ну, а туристу в тоннеле плохо. Туристу нужен руческ, травка, ресторанчик.

Бошко что-то съязвил.

Ротберг улыбнулся, показав зубы, лицо его стало на минуту волчьим.

«Мои слова были не настоящие. Вопрос не в том, лучше я или хуже Ротберга. Или — Корнакова. Я — не настоящий. Мои слова были правдивы. До известной степени. Я высказывал приблизительно то, что чувствовал. Но чувствовал-то я не по-настоящему. Чувство должно быть напряжено какой-то пружиной, скрытой в нем. В моих чувствах пружина вынута.

— И опять правда не до конца. То есть ложь, припудренная пылью правдоподобия.

Это — Мефистофель. Он уже показывает мне свои скулы, свои раскосые глаза.

— Какая звонкая мотивировка отказа от борьбы! Пусть, мол, без меня. А я посижу, подожду. Да еще болтовней развлекусь: «Ах, тоннель в будущее! Ах, солнце грядущего!»

— Но ведь речь, Мефистофель, шла о борьбе против тех, чье дело я считаю...

— Тогда будь на стороне тех, чье дело ты считаешь... Но ты и этого не хочешь. Сними-ка маску: никакой социализм тебе не нужен. Ты рад был бы в душе (и скрываешь это от самого себя) любому перевороту, от которого полетели бы к чорту все эти трудности, неурядицы, скованность личной твоей воли. Лишь бы переворот этот — с кровью, ужасом, террором — совершился не только помимо тебя, но чтобы ты имел при этом возможность протестовать против него, чтобы тебе было дано право благородных выступлений, чтобы можно было подавать куда-то негодующие декларации...

— Ну, это гнусность! Это клевета. Никогда я об этом не думал.

— Не думал? Возможно. Но что хотел этого и скрытнейшим образом хочешь сейчас — это несомненно.

Я стал плохо владеть собой. Вчера я швырнул эти

записи на пол. Часть из них порвал. Скомкав, я бросил их в угол — туда, где я обычно представляю себе лицо Мефистофеля, а иногда — к концу разговора — почти ясно вижу его. Какая чепуха!»

Каневский поморщился и посмотрел на часы. Какая, в самом деле, чепуха.

Он стал складывать записи. Из них выскользнул упругий, как березовая кора, лист. Одна сторона его была голубая, на ней лежала паутина белых линий: старый проект. На другой стороне вытянулись кудрявые строчки итальянского текста. Они заняли половину страницы. Вторая половина начиналась словами:

«Предложение г. Леонардо. Перевела Клавдия Сушкина».

Русский текст был прорезан кривой надписью:

«Гов. Каневскому на консультацию».

Он опять забыл о предложении этого итальянца. Мелочь. Какая-нибудь гайка, шпунт. Или как пилить дерево. Разве в этом дело, в конце концов?

Каневский отложил сине-белый лист в сторону.

Но синий цвет уже как-то вошел в сегодняшний день. Может быть, в самом деле рассмотреть проект итальянца?

Нет, синим был... Синим был сегодняшний сон, конечно.

Сны. Вот единственная ценность, не забываемая, не имеющая веса, которую, однако, стоит...

Но тут зазвенел телефон. Каневский услышал наконец голос Елены и ее дыхание, собранное раковиной телефонной трубки.

4. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЛЮБОВЬ СУЩЕСТВУЕТ

Она все еще говорила по телефону. С кем?

Каневский сел на диван. Он видел ее лицо и снова убеждал себя, что лицо это некрасиво. Ее рыжие

глаза при электрическом свете казались черными. Волосы струились ей на щеку, она откинула их и крепче прижалась ухом к телефонной трубке.

Она слушала, глаза ее становились неподвижными. Потом она отвечала, и тогда взгляд, теряя внимательность, скакал в сторону, в стены, в потолок, изучая в сотый раз паутинку, которую надо снять.

— Ну, когда же, послезавтра? В восемь?

Ее взгляд снова застыл, набирая внимание. Постепенным подъемом — как самолет набирает высоту.

— Решай сам. Я говорю: решай сам. Да, да.

Лицо Елены Леоновой молодеет. Смех заливал его.

— Ладно. Ну да, — ладно же.

— Устроилось? — пробормотал Каневский.

Елена бросила на диван взор, полный обидной рассеянности и не мобилизованной еще вражды. Не самоопределившись, взор этот скользнул с дивана к паутине на потолке и вернул себе потерянную ясность.

— Не пройдет. Нет, это не пройдет, дорогой товарищ. Да. Ну, я же сказала: ладно. Хорошо. Всего.

Она повесила трубку и подержала руку на аппарате, раздумывая.

— Условились? — спросил Каневский вполголоса и, неискренно покашливая, полез за портсигаром в карман.

— Это что значит — «условились»? Знаете, мне не нравится ваш тон. Вы какой-то пыльный стали. Выбивайте себя по утрам. Вместе с ковром, что висит у вас в комнате.

— Мой тон нехорош? Как же назвать ваш?

— Как угодно. Мой тон вам тоже может не нравиться. Он мне самой не нравится.

Каневский, глядя на свои пальцы, вертел папиросу. Пальцы были худые. Они вздрагивали. Елена тоже

взглянула на его руки и заметила эту дрожь. Опять будет ссора. Как это надосло!

— Елена Викторовна!..

— Ах, ну оставьте. К чему это все? Объяснения сейчас начнутся. Какое вам дело, с кем и о чем я говорила по телефону? И потом — не курите. Я только что открывала окно. А после вас опять приходится проветривать.

— Вот как? — сказал Каневский, вставая.

Леонова попробовала засмеяться.

— Ну, конечно. Я же сказала: вы — пыльный.

— Что ж, мне уйти?

— Я этого не говорила.

— А если я курить хочу? Вы никому не разрешаете у себя курить?

Подчеркивая слово «никому», он знал уже, что даром ему это не пройдет.

— Хотите курить — уходите.

— И не возвращаться?

— И не возвращайтесь. Нудный какой!

— Вы любите веселых?

— Да, я люблю веселых.

Каневский стоял, вертя папиросу, и глядел на носки своих ботинок. Как он думал об этом вечере! Несколько дней подряд, без перерыва он думал о нем. Предстоящий разговор с Еленой обрастал воображаемыми подробностями. Они были настолько волнующими, что входили в сознание, как реальность.

— Мне это надоело, Каневский. Вы все пытаетесь какие-то права на меня предъявлять. Я устала от этого.

Каневский, не прощаясь, вышел в переднюю и постоял там молча минуты две.

Елена прислушалась. Наконец дверь хлопнула, шаги Каневского стали слышны на лестнице. Он ме-

дленно спускается вниз, и руки у него, должно быть, вздрагивают.

Ну, конечно, — ей опять не выдержать. Елена открывает входную дверь. Спина инженера видна на второй площадке.

— Вернитесь, Каневский! Слышите!

Инженер Каневский не ответил. Шаги его звенят на пустой лестнице и затихают внизу.

Елене Леоновой стало жаль его. Она не знала, вправе ли она его жалеть. В сущности, он эксплуатирует ее отношение к нему. Она дорожит его чувством. Это свойственно большинству женщин. Не любя человека, женщина не хочет расстаться с его любовью к ней. Она, как Плюшкин, складывает в чулане своей памяти ненужные победы. Отношения покрываются ржавчиной ссор и пылью времени.

Но этот Каневский! Это просто эгоист. Почему он не считается с ней, с ее настроением? И каждый раз эти разговоры. Он портит ее часы отдыха. И думает только о себе. Он знает ее; он хорошо знает, что она будет жалеть об его уходе. Уйдя не попрощавшись, он купил этой ценой ее мысли о нем.

И какой настойчивый! Чисто мужская — хищная и покорная — настойчивость. Если бы хоть часть этого упорства была у Рилля...

Риль! Мысли о нем — как болезнь. Целый год, каждую свободную минуту она думает только о нем. Сколько раз она решала не думать о Рилле.

Его слова всегда слышны издалека, хотя он никогда не кричит.

Ей трудно с ним говорить, его голос наполняет ее теплым звоном. И поэтому в голове становится пусто. Когда он говорит среди четырех стен, комната гудит густой медью — и Елена думает только о том, как бы не выдать себя.

Может быть, это вражда. Он и не думает разво-

даться с женой. Да, конечно, это — вражда к физиологии, которая шлет эти теплые волны, не спрашивая рассудок.

В последний раз Рилль был у Елены летом, в доме отдыха. Он работал тогда в Харькове и прилетел на самолете — пробыть шесть часов в Москве. И три из них он хотел провести с Еленой.

Он возник перед ней, угловатый слегка, как его имя — Эдуард.

Мягкая рубашка струилась вдоль его плеч, бицепсов, груди. Он явился. После того, как заявил твердо, что с женой не разойдется.

Елена в это время бежала по лестнице вниз. Она увидела его в вестибюле. Эсфирь Гуревич крикнула откуда-то снизу:

— Елена, скорей! Все в сборе!

Этот голос донесся издали, не будя сознания. Рилль молчал. Это придало Елене силы.

— Зачем вы здесь? — крикнула она, задыхаясь.

— Вы спешите, я помешал, — сказал Рилль.

— Да, вы мне помешали.

— Я приехал на несколько часов... Но вот, — вы торопитесь.

Когда он говорил, казалось, что грудь его гудит, как колокол.

— Да, я тороплюсь.

Боясь уронить с лица непрочное выражение неприязни, Елена стала быстро подниматься по лестнице.

— Ленка, где ты? Скорей! — крикнула Эсфирь.

Елена оглянулась.

Стеклянный вестибюль был ослепителен. Там было солнце, Рилль, сквозь стекла виднедась блистающая, похожая на торт клумба.

Леонова медленно поднялась наверх, прижимая руку к груди, — там, где неровно плясало сердце.

Она нашла свою койку. Белизна стен в комнате показалась нестерпимой. Елена легла на постель лицом вниз.

Потом она сидела у окна.

В окно было видно, как отдыхавшие играли в волейбол. На траве, сияющей, как зеленое золото, скакали голоногие люди.

С тех пор прошло два месяца.

Елена решила не думать о Рилле.

Сейчас она опять у окна и думает о нем.

О любви трудно писать в наше время. О ней, пожалуй, не следует думать подробно.

В литературе она вытеснена на вторые роли, она потеряла место примадонны за выслугой лет.

Тем не менее любовь существует.

Каневский трет лоб, вспоминая. О чем напомнил ему проект итальянца?

Что касается Елены, он сам виноват. Он сам растравил это чувство. Так новобранцы в старое время превращали в рану царапину, растравляя ее кислотами и горячими пятаками.

Но о чем напомнил ему этот проект?

Каневский вынимает из стола бумаги. Обратная сторона проекта синяя.

Да, сон.

Голубизна неба, синева недостижимой дали выкрасила раз навсегда человеческие радости.

Каневский кладет на жесткий, как кора, проект Леонардо чистый лист бумаги и пишет, вспоминая:

«По-настоящему мы любим только во сне. В реальной жизни любить так сильно человек не умеет.

Сегодня во сне я встретил женщину. Тяжесть ее волос; ее огромные синеватые белки были мне не знакомы. Но что-то лукавилось в ней от Елены. И от этого любовь моя была удвоена — болью. Я увел

женщину от мужа. Она жаловалась на что-то. Да, это было в Нью-Йорке. Бесстрастно, беззвучно, декоративно высился город. Он не мешал сну. И он не мог заслонить грозы. Гроза посылала молнии странно, толстыми красными лезвиями в небо. Потом молнии падали вниз. Моя спутница сказала: «Не бойся, они все упадут в трубы». И я увидел, как молнии, дымась, исчезли. Уже не стало города. Мы вышли на пригорок. Свистели сосны, сухая хвоя под ногой полировала подошвы. Ноги скользили; слабей, я схватил женщину. Прикосновение к ней было необыкновенным. Но это не было физическое чувство. Это была радость, непередаваемое, детское осязание счастья.

Потом сон спутался. В пустом коридоре рупор прокричал, ужасая: «Он ее замучает! Он ее замучает!» Коридор вел несомненно в зал. Театральный. Или в кино. И вот я в кинотеатре. Свободно только одно кресло — в боковых рядах. Я сажусь — и вместе со мной в то же кресло опускается Сергей Корнаков. Он смеется дружелюбно: ничего, поместимся. Мы в чем-то нарушаем правила. Кажется, у нас нет билетов. Угловатым бельмом смотрит слепой экран.

Но сон вернулся туда, где было мучительно и радостно. Тяжеловолосая женщина была со мной. Я сказал: «Куда же ты сегодня?» Я боялся: в отель ко мне ее не пустили бы, — это был Нью-Йорк. Но она улыбнулась спокойно: «Сегодня я вернусь к мужу». И, посмотрев на меня, добавила: «А с тобой я уеду послезавтра».

Потом меня вызвали. Ждало что-то вроде суда. Судить меня должны были ее муж и родные. Муж стоял, держа перед собой бумагу. Женщина сидела на диване. Поодаль лепилась невянтица лиц — родные. Я сел. Родные зашелестели в испуге. Муж спросил женщину сухо: «Он вас испугал?» Она ответила, опустив глаза: «Ну да, — это был момент отчаяния.

Я боялась дальше так жить». — «И вы в отчаянии искали любви?» — «Да». — «Это была ошибка». Женщина, любимая мной в первой части сна, промолчала.

Тогда я встал и — уже у дверей, уходя, — сказал громко:

— Я любил. И если бы вы под страхом смерти захотели заставить меня отказаться от воспоминаний об этом, я выбрал бы... смерть.

Мои слова были возвышенны и жестоки.

— Я солгала, — зарыдала женщина, подбегая ко мне.

Я взял ее на руки. Ноша была тяжела, — этого ощущения во сне обычно не бывает. Ее тяжелое тело наполнило меня нежностью, — женщина была беспомощна и лжива. Я вынес ее на берег. Гроза еще не кончилась. Тяжелые молнии падали, дымясь. Перед нами был розовый залив и черная земля, — как на японских картинах. Я положил свою ношу на черный берег и проснулся с сознанием счастья, юдин час которого может закрыть собою всю жизнь».

5. О КОРНАКОВЕ, МАНИЧЕВЕ И СТАРОЙ ЛИТЕЙНОЙ

В кабинете начстроя проекты новых цехов висели на стенах, как синие флаги. Паутина белых линий на них становилась неясной. Сдавленный расстоянием, возник за окном воспаленный глаз далекого светофора.

Вечер тихо вползал в комнату.

Начстроя, вежливо улыбаясь, ждал ухода гостей.

Это были делегаты МАИ. Они приехали знакомиться со стройкой. Что такое МАИ, начстроя не помнил.

Старший гость не спеша склонял к столу малиновую шершавую лысину и говорил о бетоне. Млад-

ший записывал что-то в блокнот, подолгу прицеливаясь к бумаге вооруженной карандашом рукой. Кисть этой руки была украшена синим якорем; к нему прислонилось тяжелое сердце, сраженное средневековым нарядным мечом.

Главинж у окна кашлянул нетерпеливо.

— Сейчас, Талызин, — сказал ему начстроя.

За легкими стенами прошипел шинами автомобиль и дал призывный гудок.

— Слушай, зачем тебе мариновать Корнакова на старых объектах? — начал главинж после ухода делегатов МАИ.

— Не пройдет, — сказал начстроя, — номер не пройдет.

Он три месяца воевал в Наркомтяжпроме за переброску Талызина к себе на завод. И теперь...

— Я знаю, Талызин, к чему ты разговор начал. Дай тебе то, дай тебе другое. Дай тебе Корнакова. А старые цеха на замок, что ли? Сам подбирай людей, на готовое не рассчитывай.

Талызин стал смотреть вниз, чтобы не видеть лица начстроя. Теперь в поле его зрения были только неровные половицы и протфель, раздувшийся на коленях. Это был заслуженный старый портфель — с густой проседью царяпин. Талызин отсчитал до десяти, чтобы успокоиться, и проговорил:

— Вот я и подбираю. Одного у тебя. Другого — у кого-нибудь еще. Ты сделал меня ответственным за пуск новых цехов в срок.

— До срока! Но ведь понимаешь, с утра. С самого утра! Кто за килограммом гвоздей, как будто я завхоз! Иначе, говорят, бурение остановится. Кто за такелажем... Сорок минут я созванивался о килограмме гвоздей!

— Гвозди — это, конечно, безобразие. Это долж-

ны без тебя. Но Корнакова без твоей резолюции не откомандируют.

— Я нянька? Нянька я для вас всех, спрашиваю?

— А может быть, и нянька. Что ж такого? Ты должен вырастить завод. Ты — начальник строительства.

— Начальник строительства, это верно. Я об этом даже в приказе читал. Но не нянька. Не остри, Талызин, это у тебя слабо выходит. Погляди лучше на часы. Нет, ты погляди, — вот они, на стене. И уйди. Уйди потихоньку!

— Вот потихоньку я, пожалуй, и не смогу, товарищ Рилль.

Талызин встал, отдуваясь сквозь рыжую щетку усов.

— Что нужно, чтобы ты смог? — спросил начстрой, с подозрением прислушиваясь к дыханию главинжа.

— Нужна твоя резолюция.

— А мне нужно, чтобы ты отстал от меня. Понимаешь, отстань пожалуйста, Талызин!

— Так это ж одно с другим связано. Дай резолюцию, и я отстану.

— Ты опять остришь? Я ведь тебя просил: не остри. Ну, хорошо: надо подумать. Не дыши так сильно. Кто у меня без Корнакова закончит дело с колесами Грифина в старой литейной? Вот приеду домой в два часа ночи и буду думать о Талызине и Корнакове.

Корнаков был бы доволен, узнав об этом разговоре. Но он не узнал о нем.

Прочтя приказ о своем переводе в распоряжение главинжа по пуску завода, он вспомнил о чугунолитейном, о Маничеве, о колесах Грифина.

И вот —

чугунолитейный по-новому встретил его своим ста-

ромодным сумраком, грудями земли, разрытыми траншеями. Как всегда, он напоминал дымящееся еще поле давно отшумевшего сражения. Дымились опоки. Перед ними темнели коленопреклоненные фигуры формовщиков. Синие ядовитые цветы выросли над опоками и удушливо гасли. Воздух был отяжелен дыханием металла.

Розовая дуга, сияя, повисла во мгле старого цеха. Суетливый Митин, помощник Маничева, носился у вагранки с пирометром в руках. В нимбе зловеще лопающихся звезд лился в подставленный ковш раскаленный чугун. Митин походил на оторопевшего туриста, застигнутого небывалым пейзажем. Пирометр в его руках напоминал бинокль.

— Маничев в лаборатории, — пробормотал он, следя в пирометр за раскаленной струей.

Лаборатория помещалась наверху, за конторкой цехкома.

В цехкоме председатель говорил группе рабочих, протягивая руку убеждающим ораторским жестом:

— Товарища Сухоручко мы призываем повести нормальную обстановку в работе. А товарищу Косманскому мы скажем: «Пей, товарищ Косманский. Пей! Но порога в этом деле не перешагивай».

Сергей Корнаков открыл дверь в лабораторию. Белыми халатами лаборантов, белизной шкафов и стен она напоминала больницу. Молоко мутнело в банках. Над тиглями кудряво вились ядовитые штопоры газов. Между штопорами сидел Маничев, разглядывая кусок металла.

У Маничева — крючковатый нос, седая бородка гвоздем — профиль Иоанна Грозного. Но лицо Маничева грустно. Склероз положил на это лицо осенние краски. Над старчески розовыми щеками — красные кольца утомленных век. По-вечернему темнеют вены на его руках.

Кривая жизни старого технорука склонилась вниз.

Корнаков взял кусок чугуна из рук Маничева. Полоса закала опять шла чересчур резко, серебристой опушкой, без постепенного перехода в серое тело чугуна. Достижение было только в ширине закалочного кольца: ровно двадцать пять миллиметров, указанные американским журналом.

— Сейчас опять льем, — сказал Маничев.

— Игнат Семеныч, идите! — позвал Митин, просовываясь в дверь.

Корнаков с Маничевым спустились в цех.

Мостовой кран скрежетал и ползал под потолком, как чудовищная черепаха.

— Правей! — закричали снизу.

Кран прополз направо, рабочий из крановой кабинки выглянул вниз вопросительно и недовольно.

— Опускай!

— По-малу, по-малу!

На цепях спустилась тяжелая болванка и придавила опоку.

Кругом, почувяв необычное и забыв о сдельщине, скоплялась молодежь. На запачканных сажей лицах глаза блистали фарфоровой чистотой белков.

— Товарищи, уходите же! — крикнул нервно Митин.

Человека три оторвались от зрительного кольца и ушли в сумрачную даль цеха. Остальные, отодвинувшись, смотрели с застенчивым упрямством.

Митин двинулся на них яростно, не отрывая глаз от часов; минутная стрелка переползла деление, похожее на обломок мушиной лапки. Митин закричал панически:

— Подымай!

Цепи, повизгивая, напряглись. Груз приподнялся и поплыл в сторону.

С опоки сняли крышку. Показался облепленный присохшей землей, с жарким дыханием чугуна.

Митин схватился за пирометр, наблюдая температуру.

Маничев стал доской счищать формовочную землю с чугуна. Доска вспыхнула, как факел. Лицо старика разогрелось, шапка сбилась на затылок. И всем на секунду вдруг стало ясно, каким, должно быть, удалым парнем с соколиным взором был технорук в молодости.

— Ну-ко-сь, Игнат Семеныч.

Подошедший рабочий уважительно отодвинул Маничева и принялся чистить чугун метлой из железных прутьев.

В сумраке чисто и щеголевато засияло розовое колесо. По его ободу полукругом легли буквы — название завода.

— Да вот оно, стало быть, грифиново колесо, — протянул кто-то из зрителей со смехом и как будто с разочарованием.

— Товарищи, разойдитесь же! — кинулся на этот голос Митин, размахивая пирометром.

Кольцо зрителей распалось.

— Завтра расколем, — сказал Маничев, вытирая пот со лба. — Должно выйти: из ташинского чугуна отлили. Вот если б обеспечить односортность металла, тогда б дело без сомнений.

— Ташинский чугун тоже ведь не всегда одинаков, — заметил Корнаков.

— Но все ж таки. Сегодня углерод в нем выгорел в полчаса, а в южном чугуне — в полтора. А что я хочу сказать, Сергей Иванович: нажали б вы в конторе насчет теплового пирометра. С одним оптическим нам не обойтись.

— Теперь уж не мне придется нажимать. С завтрашнего дня меня перебрасывают к Тальзину.

Маничев вздохнул, помолчал.

— Колодцы посмотрите?

Но в колодцах, предназначенных для томления горячих колес, никакого неблагоприятия быть не могло.

— Нет. Вы дайте мне, Игнат Семеныч, все анализы по части Грифина. Надо отчитаться перед начальством.

Прощаясь, Корнаков задержал руку Маничева. Старик поднял на него валистый бледной голубизной взгляд.

— Сергей Иванович.. Серега!

Он коснулся легонько плеча Корнакова и засмеялся, бодрясь:

— Еще, может, поработаем вместе?

— Ну ясно, поработаем. Вот что: не сидели бы вы до ночи в своей лаборатории, Игнат Семеныч. Пропадут глаза.

— Не пропадут. Ну, значит, прощай, Сергей Иванович.

— Летом я к вам крыжовник приду есть.

— Крыжовник? — удивился технорук.

— Лет двадцать тому назад я его крал у вас из палисадника.

— Крал? Ай, разбойник! Ай, бандит!

Старый технорук кашлял, смеясь, и сжимал плечо Корнакову.

Впечатления дня ложились в сознание приятно, устойчивыми пластами, не споря друг с другом.

Положительно, события дня нравились Сергею Корнакову. И перевод на новостройку. И все остальное. И даже прощание с Маничевым. Хороший старик.

И тут он вспомнил о Лиде.

Но мысль была прервана Каневским. Тот шел ему навстречу по коридору конторы, необычно спеша. Кирпичики коричневого румянца легли на его всегда бледные щеки.

Он сказал встревоженно Корнакову:

— У меня одна бумага пропала. Курьерша говорит, что она нашла на полу какой-то листок и положила на ваш стол.

— Пойдем поглядим.

Корнаков открыл свой стол и вынул папку с бумагами. Ну, так и есть: уходя, он собрал все со стола и спрятал. Вот и листок с почерком Каневского.

— Не это ли?

Передавая листок, он поймал на нем полстроки: «Любить по-настоящему мы умеем...»

Каневский протянул руку слишком поспешно. Листок упал на пол. Каневский медленно наклонился. Когда он выпрямился, можно было подумать, что кровь прилила к его щекам оттого, что пришлось низко нагнуться.

6. ДУБИН-КОРЕНЬ

Теорию первого впечатления Фирсову пришлось забраковать. Редактор с саркастическим лицом оказался добрейшим и покладистым парнем. Пожалуй, даже слишком покладистым; газета от этого не выигрывала. А Титков, с простодушным рязанским взглядом и неясной улыбкой, постоянно обижался на всех и сам обижал других.

Титков и Верейников почему-то сразу восприняли друг друга иронически. Совместный досуг их проходил во взаимном поддразнивании.

У Титкова был сильнее багаж, он забивал Петра сравнениями. Но у Петьки Верейникова оказалось оружие потяжелей: он ржал. Вынимая трубку изо рта и янтарясь козлиными глазами, ржал густо. От ржания дрожала перегородка, и Титков злился.

Попытки Фирсова ввести регламент в вечерние часы ни к чему не привели. Заниматься дома по вечерам

было трудно. Между тем, кроме обработки материалов для газеты, нужно было прочесть несколько книг, чтобы не ходить по цехам туристом.

Фирсов стал заниматься в читальне при технической библиотеке. Инженер Корнаков посоветовал ему прочесть «Технологию дерева».

Это было необходимо, чтобы лучше понять рационализаторские предложения Леонардо и других рабочих деревообрабатывающих цехов.

«Технологию дерева» достать было трудно. В пятый раз спрашивал ее Фирсов у библиотекарки и в пятый раз получал отказ.

Наконец он рассердился:

— У вас никакой книги не достать. Техническая библиотека называется!

— Неправда, — обиделась библиотекарка. — А «Технология дерева» тоже имеется, ее взял товарищ Дубин-Корень.

Фирсов посмотрел на нее, раздумывая. Целый день неудачи. С утра ловил Талызина. Талызин пришел и сказал, что ему некогда. Материала о новостройке до сих пор нет. И когда будет — неизвестно.

На сизой щеке библиотекарки цвел чирей. Ее завитые серые волосы победоносно высились, суживая лицо, похожее на кукиш, оседланный пенснэ. На этом невзрачном пейзаже пламенели губы.

«Зачем она красится к тому же? — подумал Фирсов устало. — Ну и не везет! Тут книга нужна дозарезу, а этот, как его, Дубин-Корень... Но это же бесполезно для нее — красить губы. Кому, в конце концов, нужны такие губы?»

Библиотекарка, отметив продолжительность его взгляда, смягчилась.

— Я вам отложу «Технологию», как только Дубин-Корень ее вернет. Он, кажется, уже просрочил.

Она порылась в карточках.

— Да, он ее держит уже полтора месяца.

— Слушайте, — оживился Фирсов, — а где он сидит, этот самый Корень? Я в порядке общественной нагрузки согласен...

— Он — «не этот самый», товарищ, а замначальника строительства.

Библиотекарша посмотрела на Фирсова с достоинством.

Фирсов угас.

— Тогда он, пожалуй, и совсем ее не возвратит.

— Зачем так говорить, товарищ, — поучительно начала культработница, но Фирсов уже уходил. Целый день неудачи.

Поднявшись наверх, в контору, он увидел сияющего Корнакова и пожаловался ему. Корнаков со смехом стал рассматривать его сердитое лицо, — этот паренек с крутым лбом, очками на крошечном носу и сугубо писательской гривой ему нравился.

— Ну, пойдем возьмем за бока самого Дубина. Замнач — не замнач, а книги не маринуй. Так, что ли?

На двери кабинета замнача висела любовно разрисованная рукой канцеляриста подробная надпись:

Заместитель начальника строительства Тов. Леонид Ильич Дубин-Корень

Дубин-Корень редко бывал в главной конторе. Его видели всегда на ходу. Это был человек в морских — до бедер — сапогах, шоферских рукавицах, авиаторском коричневом шлеме и роговых очках. Он всегда спешил. Тонкие его губы непреклонно сжимали черное дуло английской трубки. Он был стремителем и необычен с виду. Девушки, видя его в первый раз, следили за ним озадаченным взором, готовые влюбиться или высмеять.

Дверь к Дубину была полуоткрыта.

— Ты погоди тут минутку,— сказал Корнаков Фирсову и закрыл за собой дверь кабинета.

Кабинет оказался пустым. Нужные ему книги Дубин-Корень держал в шкафу. Если взять оттуда «Технологию», — он и не заметит. Корнаков подошел к сияющему стеклами шкафу. Книги и чертежи в нем лежали в беспорядке. «Технология дерева», возможно, была похоронена в общей куче.

Прикрывшись дверцей шкафа, Корнаков начал поиски.

Но тут стремительно вошел Дубин-Корень, крикнув кому-то через плечо:

— Некогда мне, понял? Я и так опаздываю на заседание к уполнаркомтяжпрому.

Дубин подошел к письменному столу. Корнакова он не видел,— тот стоял в углу, закрытый отражавшей свет стеклянной дверцей шкафа.

Дубин снял шоферскую рукавицу, сел за стол и вытянул ноги в тяжелых сапогах. Он, посвистывая, стал с одобрением разглядывать противоположную стену. Корнаков тоже взглянул на нее. Стена была из некрашенной фанеры и цветом походила на пласт сливочного масла. Она имела приятный вид и, вероятно, пахла сухим деревом.

Дубин похлопал рукавицей по столу и вытащил из кармана коробочку. Потом — ручное зеркальце. Солнце отскочило от зеркальца, по стене с неуклюжим бешенством заскакал круглый зайчик.

Дубин принялся пудрить нос, медленно проводя мизинцем вдоль складок у рта.

От удивления Корнаков выпустил из рук «Техническую энциклопедию». Тяжелая книга упала звонко, как пощечина.

Дубин-Корень отвернулся к стене — напудренным носом — и спросил раздраженно:

— Ну, в чем же, наконец, дело?

— Я тут книгу... одну книгу ищу, — ответил виновато Корнаков.

Фирсов, дождавшись Корнакова, сразу узнал по его лицу: новая неудача с книгой.

— Ничего не вышло.

Лицо Корнакова было подозрительно красным. Он не стал больше разговаривать, не дал никакого совета и поспешно ушел.

Его смущение не понравилось Фирсову.

«Намылило тебе, видно, начальство шею, вот ты и спекся», — подумал Фирсов с внезапным злорадством.

Невезение продолжалось. На дворе он встретил Дымщица и, предчувствуя новую неприятность, выслушал задание: сегодня же выехать в Подгорное. Колхозник с лошастью уже ждет.

— Когда же я наконец возьмусь за новостройку? — произнес Фирсов с отчаянием.

— Возьмешься, возьмешься. Погоди. Сперва в Подгорное.

Колхозную подводу нужно было искать у поселковой чайной.

Навстречу бежал Леонардо.

— Эй, Фирсов, зачем нос книзу?

— Как дела, Леонардо? — спросил Фирсов вяло, только для того, чтобы не пройти молча.

— Дела так: завком мне нет «здравствуйте». Партком мне нет «здравствуйте». Раньше партком: «У-у, Леонардо! У-у, молодец!» А теперь, когда я критик на партком, я уже не молодец, мне уже нет «здравствуйте».

Кинув совсем по-русски: «Пока!» — Леонардо убежал.

В заводские ворота густо протекала толпа рабочих, закончивших первую смену.

7. ПОЕЗДКА В ПОДГОРНОЕ И ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ МАТВЕЕМ КАШИЦЫНЫМ

Подгорное неожиданно нагроулило Фирсова материалом сверх всякой нормы. С кроличьим хозяйством нельзя было ждать ни минуты. Фирсов уже видел перед собой убийственные шапки заводской газеты. Блокнот был весь исписан.

Животновод совхоза, заподозрив недоброе, ходил вокруг него:

— Вы не учитываете, товарищ, естественного отсева.

Он ходил вокруг и взволнованно сморкался. Но картина была ясна. Фирсов заторопился.

Колхозник Степанов выезжал на станцию в ночь, чтобы попасть к утреннему базару. Он принял Фирсова с угрюмым гостеприимством, как старого, слегка надоевшего знакомого. Может быть, он видел раньше кого-нибудь с блокнотом, похожего на Фирсова.

Из Подгорного выехали с невзгодами. Пошел дождь. Мокрые деревья по бокам дороги несли в привычном напряжении кривые сучья. Потом и они исчезли. Все исчезло. Колеса в темноте давили грязь и шлепались в выбоины, полные воды. Заднее колесо не выдержало, лопнула шина. Степанов долго ее закручивал назад и подвязывал веревкой. Это помогало мало. При повороте колеса шина сперва всхлипывала, потом медленно замахивалась и падала. Падая, она хлопала гулко, как бич.

Лошадь шла шагом, в хлопаньи шины появился ритм, равномерный, как стук часов. Мокрая тьма до росла до разорванных туч. Время растягивалось, как черная резина, и не поддавалось измерению.

Наконец впереди низко повисло оранжевое пятно.

— Лыкошино, — сказал Степанов сердито.

Только одна изба была освещена. Но зато в ней цвел за окном оранжевый шелковый абажур.

Дождь унялся. Где-то за избами закричали парни и девки: «Страдание».

Степанов остановил телегу.

— Тут где-то чайная была.

Сзади послышалось всхлипывание колес.

— На станцию, что ль? — спросил в темноте пьяный голос.

Степанов, помолчав, сколько следовало, ответил недовольно:

— На станцию.

— Слышь, друг: проведи мою лошадь.

Степанов молчал, не двигаясь.

Тогда позади раздался треск, нервно взвизгнула лошадь.

— Охлобон, дьявол! Просил, чорта, — проведи лошадь. Стой!

Лошадь приехавшего вдруг зарычала. Фирсов никогда не слышал, чтобы лошадь могла так рычать. Она редела мстительно, ненасытно и грозно, как лев. Должно быть, пьяный бил ее всю дорогу, и теперь, услышав треск оглобли и зная повадки своего седока, она ждала новых истязаний. Лошадь восстала. Она вырвалась из построшков и начала носиться во тьме, свистя иступленным дыханием и рыча.

Пьяный, видимо, сразу протрезвел. Его голос примирленно зазвучал откуда-то со стороны, — должно быть, из палисадника:

— Маш, стой... Маш!

Маш понеслась на голос и, взвизгивая, заколотила копытами о дерево. Так как голос больше не был слышен, она забыла, где спрятались ее хозяин, и стала описывать круги по деревенской улице. Уцелевшая оглобля, приплясывая за лошадью, сводила ее с ума. Газы с шумом освобождались из ее кипечника. Звуки эти вызвали бурный отклик со стороны

царней, бросивших «Страдание» и прислушивавшихся в темноте к конскому бунту.

Кружась, Маш почуяла повозку с людьми и, подскавав, начала бить задом. Она зацепила копытом заднее колесо; над ухом Фирсова подвязанная шина жажужжала камертоном. От испуга он налетел на Степанова, шепча:

— Едем потихоньку!

Степанов тронул вожжи.

Мысль о чайной, о просушке отодвинулась.

Шина зашлепала по мокрой земле. Шлепанье продолжалось долго, так как ехать можно было только шагом.

Рассвет наливался мутно, болезненно. Когда подъезжали к станции, молочницы уже перезванивались бидонами. На пристанционной площади высились возы с сеном, похожие на огромные зеленые грибы. Потные бульжники были заштрихованы сухими травинками, и запах сена сплетался с дыханием паровоза.

К Фирсову подошел низенький крестьянин и, придвинув к нему сивые кольца бороды, сказал:

— Ты мне известен.

Фирсов молча пошевелил затекшими ногами.

— Я тебя видел в Подгорном, — продолжал низенький, — ты пишешь в газете.

— А что?

— Сейчас объяснюсь. Я — писатель, поэт. Ну только я пишу из жизни. Разные факты. Я пишу как Лев Толстой.

— Как Толстой?

— Он тоже из жизни писал. Читал его Анну Каренину?

— Читал.

— Вот тоже из жизни написано. Или еще он так писал: спутался он раз с одной губернанткой, — ну,

и описал после. Только частично выдумал — для художества, а частично описал, как было на самом-то деле.

От бессонной ночи, от озноба, от белесого рассвета крестьянин показался Фирсову нереальным.

— Скажи мне свой адрес,— попросил тот, надвигая на него кольчатую свою бороду.

— Зачем? Ах, да.— Фирсов полез за блокнотом: — В газету хочешь писать?

— Вот! Хочу я, чтоб на свете знали, что есть в Подгорном такой чудак: колхозник и поэт Матвей Кашицын. Я тебе пришлю мои стихи.

— Урожай на поэтов.

Фирсов растянул улыбкой озябшие губы.

— Урожай? — обрадовался Кашицын.

— Я живу в одной комнате с парнем одним — нашим, заводским. Он тоже поэтом оказался.

— Вот мне бы с ним повидаться, поговорить. Я к тебе зайду, можно?

— Можно. Лучше в выходной день на квартиру.

— Знаю: шестого, двенадцатого, восемнадцатого.

Матвей Кашицын бережно спрятал адрес Фирсова и, дав ему подержать свою коричневую ладонь, ушел. Молочницы нервно зазвенели бидонами. Неподалеку закричал паровоз.

8. ПОЭЗИЯ КАК НЕВЗГОДА

По улице шел неправдоподобно тощий человек в засаленной шляпе. Его необычайно длинные ноги равнодушно стучали по асфальту деревянными подошвами. Спина, грудь и бедра его были увешаны полосками картона с красными надписями:

«Смерть!»

«Блохи, клопы, тараканы уничтожаются...»

Надписи были сделаны от руки, неумело и старательно.

Тощий человек двигался посреди тротуара, его толкали с двух сторон. Глаза тощего были устремлены вдаль, поверх людских голов, как у пророка.

Улица ползла вверх, натруженные синие рельсы сияли, отражая небо. Вдали одинокий букашился автомобиль.

Направо саркофагом лег екатерининский особняк с колоннами.

Мальчишки смеялись и дергали за картон (с надписью «Смерть»). Тощий молчал, насмешки составляли привычную часть его быта. Кроме того он был увлечен созерцанием яблочков: неровные их пирамиды лепились у подошв панически настроенных теток. На повороте зазеленела травяная шинель. Тетки, вскинув корзины на плечо, на голову, на спину, с места взяли рысью. Милиционер задумчиво поглядывал им вслед. Он не заметил у своих ног — на голубой эмали первого ледка — вещественного результата паники. Тощий человек, придерживая на груди картонный плакат, нагнулся к сапогу милиционера и поднял яблоко.

— С находкой, папаша!

Тощий разогнулся не спеша. У витрины — кепка, рыжие стружки волос, веснушки, слишком знакомые.

— Я дурак, Алеша. Но тебя я хотел бы видеть инженером, — сказал человек с надписями.

Парень в кепке сплюнул, вертя папиросу.

— Я жизнь профокусничал, Алексей. А тебя...

— Ну да знаю, слышал... Эй, Паша! — заорал Алексей и кинулся в сторону, ввинчиваясь в толпу.

Фирсов крепко схватился за карман, почуяв в нем чужую руку. Обернувшись, увидел: шутка. Его держал за карман Алексей Титков.

— Кричу: Фирсов! Паша!. Не слышит. За карман слышней.

— Откуда ты?

— Надо спрашивать: куда. А я и сам не знаю куда. Выходной день, приехал в город, а куда идти — не знаю. Папашку своего встретил. Клопомор он.

— Это ты его за что?

— Да нет, на самом деле клопомор. По домам ходит — клопов морит. А нынче рекламу развел, — смех!

Фирсов повернул к трамвайной остановке.

— Не удался день, — вздохнул Титков.

— Рифмы не выходят?

— Смейся.

Подошел трамвай, толпа в жаркой схватке кинулась к вагонам. Наш северный темперамент за последние годы стал заметно экспансивней. Роль трамваев в этом процессе еще не изучена.

Кондуктор кричал, командуя. Он походил на капитана тонущего корабля. Вокруг него вихрилась буря озлобленных лиц. Кондуктор командовал: «Вперед! Эй, на прицеп с корзиной, на прицеп!»

— Слушай, Фирсов. У меня к тебе просьба: зайдем в ресторан, — предложил Титков.

— Вот так просьба, — засмеялся Фирсов, глядя, как женщина с потертыми плюшевыми боками лезла на подножку и кошкой пробивала себе путь. «Я тебе так поддам, что носом заковыряешься!», — взвизгнула она с неожиданной удачей.

Четвертого номера не было. Пришел шестой, тридцать четвертый и еще два шестых — подряд.

Фирсов увидел, что Титков начинает наливать обидой на его молчание.

— Ну, пойдём.

В ресторане скатерти на столах хрустели. Четырехугольные кресла блестели лаком; на них сидеть

было неудобно, их низкие спинки элегантно заканчивались полированной рейкой, которая резала позвоночник. В простенке кариатида закинула за голову круглые руки. Слепые ее глаза застыли в каменной истоме. Голая грудь торжествующе несла безукоризненность гипсовых линий.

Официант в белой прозодежде презирал пришедших. С рассеянной усмешкой подал он им карточку. Фирсову было не по себе от остроспинного кресла и оттого, что на обед надо был истратить дневной заработок. Усмешка официанта вернула ему равновесие. Титков начал заказывать. Оркестр взвыл, покрывая его голос. Это был джаз,— сюда заходили иностранцы.

— Повидал ты Кашицына? Он тебя все ищет,— сказал Фирсов.

— А ну его! Кстати: он к нам в механический устроился чернорабочим. До весны, говорит. Его многие за дурака считают.

— Почему?

Но Титков не слушал. Мимо их столика прошла свежеразрисованная женщина. По надменной ее голове и застланному взгляду была видна сомнительность ее занятий. Сидящие за большим столом иностранцы одобритительно оглядели ее и, как по команде, переглянулись. Титков крикнул и с отчаянным видом выпил рюмку.

Зажглись теплыми тюльпанами лампы. Джаз-банд дребезжал, разоряясь. Под такой оркестр легко пьется вино.

Разглядывая неясную улыбку Титкова, Фирсов спросил:

— Ну что тебе здесь нравится?

— Понимаешь,— начал Титков, старательно собирая губы (после выпитой рюмки вина улыбка не хотела уходить; он стер ее ладонью),— понимаешь,

мы ведь не святые. Нужно ж и нам в жизни... ну, что-нибудь красивое. Я люблю вот это — джаз, огни, нарядных женщин.

Оркестр затих, и Титков понизил голос. Слушая его, Фирсов рассеянно оглядывался вокруг. Они сидели недалеко от оркестра. Пользуясь перерывом, два оркестранта ссорились. Один — круглый, с плотно сбитым лицом — уничтожал противника побелевшими от злости глазами. Противник же его был заморыш; голова у него торчала печально — желтым яйцом. Сидел он у барабана, — и здесь, должно быть, как и всюду, был неудачником. Он возражал круглому редко и несмело; тот захлестывал его лавиной не слышных Фирсову слов.

— Тебе ресторанной поэзии захотелось? — сказал Фирсов. — Вертинский какой нашелся.

— Скажи проповедь, Паша, скажи проповедь, — пробормотал Титков, обидевшись.

Джаз снова покрыл их голоса.

Ссора двух оркестрантов оборвалась. Яйцеголовый неудачник бухал в барабан, хватал палочкой по какому-то сверкающему абажуру, бил в тарелки, звенел противоестественным приспособлением, никак не напоминавшим музыкальный инструмент. Руки его летали молниеносно, — он открыл целый музыкальный универмаг, в то время как его соседи корпели над единоличными флейтами и гавайскими гитарами.

Титков наклонился к Фирсову, крича:

— Дать бы вам волю — завод в монастырь переделали б!

— Кому это «вам»?

— Таким, как ты. Проповедникам.

— Проповедей ты от меня не слышал. Брось. Видишь, я и водку пью. Но к чему вот это: «нарядные женщины» и... так далее?

— А хоть бы и так, Паша! — закричал Титков восторженно. — Хоть бы и так! Эх, жили ж люди, жгли жизнь с обоих концов!

— Да ну тебя к чорту! Лопай второе — и пойдем.

— Нет, ты выслушай. Потеряй для товарища полчаса. Скучно мне, Паша. Скучно у вас в клубе, на заводе, среди девчат, на собрании, всюду. Видишь ли, все это не для меня. Не отмахивайся, Паша, стой. Ну, вот ты о подгоринских кроликах в газете написал. Чепуха все это... Неужто ж так и думаешь жизнь прожить — за кроликов воевать, да писать про то, как Леонардо предлагает доски пилить?

— А что ж в том плохого?

— Не говорю, что плохое. А скучно. Я — особенный, Паша, мне этого всего мало. Может, потому я и поэтом стал себя считать. Ищу чего-то, хочу чего-то от жизни, а чего — и сам хорошо не знаю. Раздумаюсь другой раз — и будто один я, совсем один на свете. Эх, зажег бы я свою жизнь, — гори, лучина!

— Да кто ж тебе велит быть одному?

Титков засмеялся и погрозил пальцем:

— Я, Паша, особенный... Не хочу. Не хочу быть таким, как... как все. Про кроликов... Нет, это долгой!

Он закачал головой в такт джазу, пьянея.

Мимо них, задев скатерть, прошел иностранец, ведя осторожно под руку женщину с разрисованным лицом. Женщина теперь сменила выработанный перед зеркалом стандарт расположения лицевых мышц. Она улыбалась доверительно, в меру интимно. В ней была видна порода.

Титков захрипел было, схватившись за скатерть: «Осторожней, гражданин!» — но, заглядевшись на женщину, замолчал и взъерошил волосы.

— Вот! — воскликнул он, торжествуя.— А ты — кролики и прочее...

— Я слышал, что ты опять шайбы запорол.

— Ну и запорол. Пустяки все это.

— Из чего это, однако, следует, что брак продукции — пустяк, интересы завода — пустяк, кролики для заводской столовой — чепуха, а вот твои... ресторанные переживания, твое любованье своей «особенностью» не пустяк?

— Ну вот, я ж сказал: вали проповедь.

— Проповедей от меня ты не слышал и не услышишь. Прощай, мне надо на поезд.

Фирсов сверился с карточкой, положил на стол восемь рублей — свою долю и ушел.

Титкову от нанесенной обиды положение показалось безвыходным. Но тут он вспомнил о Ваньке Карякине, неукротимом собутыльнике, и, расплатившись, пошел к выходу.

Поэзия в жизни Титкова была невзгодой. Но он этого не знал.

В возрасте шестнадцати лет он был сбит с толку своими желтыми кудрями. На невысокий лоб они спускались нарядными завитками. Титков, глядясь в зеркало, сказал: Есенин.

С тех пор он стал поэтом.

Над ним повисла есенинская тематика: тоска, кабак, опечаленная береза, покачнувшаяся городская окраина, черная дыра в небытие.

Он писал спотыкающиеся стихи о поэте-хулигане.

На него мало обращали внимания. А он уже думал о своей биографии. Он жил в то время с отцом в Ново-Спаске. Жизнь складывалась неприметно. Тогда он украсил себя разноцветными ленточками и в таком виде прошел по улицам, строго перенося на-

смешки. Но произведенного впечатления хватило не надолго.

Приехав в Москву, каким-то чутьем он безошибочно нашел дорогу в литобъединение, носящее символическое название.

В этом объединении меньше всего был заметен его вождь, старый революционер-книжник. С литературой у него были давние и неудачные отношения. Вождь сидел обычно в уголку — грустный, в седом ежике, в джемпере, с толстыми негритянскими губами. С недоумением и надеждой наблюдал он пестую им ватагу.

Всяко бывало.

На трибуну продирался косматый Тропин и глухо бубнил оттуда:

— А если у поэта сифилис...

У окна снисходительно улыбались машинистки объединения. Они всегда грызли раздобытые где-то пирожные и были, по мнению Тропина, общедоступны.

Стремительно выростал над кривыми рядами стульев тонкий ясный Михаил Беспутный и звонким голосом упрекал присутствующих за то, что его мало печатают.

У Тропина не все высказывания проходили мирно, и тогда он лез к возражающим, тряся кулаком и с театральной свирепостью засучивая по дороге рукав.

В общем все это было экстравагантностью избранных натур. По крайней мере по замыслу авторов.

Иногда приходили опекуны свыше, — кажется, из Наркомпроса. Все они были в форме, в серых толстовках. Их встречали враждебным молчанием, но не обижали, дорожа судьбой своего объединения.

Здесь Титков ожил, почуяв зыбкую почву, о которой мечталось в Ново-Спасске. Зыбкая почва? Нет, на асфальте же расцветать золотоголовой песне.

Однажды он, волнуясь, прочел свои стихи о поэте-хулигане. Его выслушали с дружелюбным равнодушием.

Михаил Беспутный закричал, что мотивы поэзии Титкова не случайны. Они возникают в той среде... и Беспутный начал ругать присутствующих за то, что его — Беспутного — стихи не печатаются.

Был нэп. Существовало стойло Пегаса. По бульвару ходили два поэта в цилиндрах, уверяя, что цилиндры выданы им по ордеру Центросоюзом.

После безработицы — и своей и отцовской — Алексей Титков поступил на завод. Работал он невнимательно. Бригадир, старый производственник, дергал себя за казацкие усы, грустно рассматривая брак Титкова — запоротую деталь. Он знал, что Титков поэт, и терпел до времени. Но расстраивался.

Ванька Карякин встретился в самый нужный момент, — когда поезд уже вытряс из Титкова непрочный хмель. С Карякиным были еще трое.

Решили начать с пивной-закусочной, единственной в поселке.

Но пиво показалось Титкову приятным только в первой кружке. Потом оно стало желтеть противно и помигивать неприязненно белесыми пузырями пены. Так как его надо было пить стоя, из закуской пришлось скоро уйти. В нише ворот Ванька вытащил из кармана литр. Пили по очереди из горлышка. После этого уже требовалось размахивать руками и кричать.

Пошли к клубу с целью показать себя в веселом виде. Клуб был закрыт. Карякин забарабанил в дверь:

• — Взойдите в положение!

Дверь высилась перед ними насмешливо и глухо.

Тут хмель ударил Титкову в голову. Он на минуту понял, что все это опять не то.

Слабый Петр Шишкин — из компании Карякина — стал медленно сползать вниз, нерешительно пытаясь удержаться за клубную дверь. Он надеялся поймать ручку двери. Ручки не было, и Шишкин сел на землю.

Титков поднял его и прислонил к стене. Шишкин снова начал сползать. Ребята с Карякиным шумели уже где-то впереди, вразброд запевая частушку.

Титкову стало скучно, он махнул рукой и пошел в сторону.

Поселковая ночь, разорванная немногими огнями, окружила его.

Знакомая утварь есенинских песен казалась близкой, ее можно было схватить руками. Но она не давалась, расплываясь бесформенно и равнодушно.

Он снова вспомнил Фирсова. За ним Титков числил не только сегодняшнюю обиду. Главное произошло две недели тому назад в швеллерном цехе. Титков и виду тогда не подал. Это его сегодня прорвало в ресторане. А тогда он даже посмеялся, хлопнув Фирсова по плечу. Между тем он не сразу решил обратиться к Фирсову с просьбой — поместить его стихи в газете. Заводская газета, в конце концов для поэта не выход. Но потребность видеть свою подпись в печати становилась нестерпимой. И он решился. В редакции сказали, что Фирсов пошел в швеллерный, — в цехком. Поднимаясь по лесенке в конторку швеллерного, Титков увидел Фирсова, нагнувшегося у перил над пролетом. Внизу весь первый этаж был в сполохах электросварки. Сварщики в темных очках-консервах, похожие на шоферов, стояли, отгородившись друг от друга черными щитами.

При вспышках видны были на щитах четырех-

угольники объявлений и огромная меловая надпись: «Нюра — хорошая». В цехе неровно колыхался гул, нарастая и падая. Голубые сполохи и гул имитировали грозу. В полуоткрытую дверь цеха была видна река и будничный, невеселый горизонт. Дверь с извилиной реки потухла, — возле нее Панкратов стал сваривать шину встык и окружил себя сверкающим нимбом из золотых парабол.

— Алексей, — произнес негромко Фирсов, — вот бы об этом в... стихах?

Титков удивился. Однако возражать было не время. Он протянул Фирсову свою рукопись.

— Не выберешь ли что-нибудь для газеты? Дома, понимаешь, при Верейникове не хотелось...

— Эй, Фирсов! — крикнули снизу, — присоединяйся, сейчас обсуждение будет.

Фирсов, небрежно сунув рукопись в карман, бежал вниз по лестнице.

«Авторитет зарабатывает в рабочей массе. Ишь взвился», — подумал Титков, идя следом.

Обсуждение началось сразу по окончании работы первой смены и было бурным.

— Потребовать резиновые передники — и точка! Профессиональная вредность!

Это Митька Дерябин, заводила, бузотер.

— Да кто тебе сказал?

— Попова коза.

...
— А инженер, стало быть, произнес: выдумки, ерунда.

— Инженер в цеху с инструментом не работает.

— Тут доктора допросить; пусть анализ вопроса даст.

— И без доктора известно, — Малышев, как всегда, смотрел ласково, пропуская сквозь пальцы шелковую свою бороду и щурясь.

— Малышев, а ты чего? Ты ж в механическом вкалываешь?

— Я по-человечеству. По-соседски.

— Малышев, хо-хо! Тебе по возрасту пора, для таких и сварка не страшна.

— Ай, не пора, золотой мой.

— Пора, дядя! Догорели юлги.

— Ай, не пора.

Титков стал пробираться к выходу. Не об этом ли еще предложит Фирсов стихи писать? Споры о губительном влиянии электросварки на половую энергию шли среди сварщиков давно. Кто-то пустил слух, что нужно требовать резиновые передники. Данных никаких не было, но на всех почему-то действовал убедительно довод о том, что у радистов головы лысеют. Расстояние же между радио и электросваркой опускалось.

Через день Титков спросил Фирсова:

— Ну, как, прочел?

— Да, понимаешь, не подходит для газеты. Я редактору показал.

— Несовременно?

— Пожалуй, что и несовременно.

А сам и не прочел, должно быть, толком. Споры рабочих о резиновых передниках интересней для него, чем рукопись товарища. И вот — обида.

Даже сейчас неверная, зыбкая от вина горечь растет и сжимает горло. А поселковая ночь, надкусанная желтыми зубами — освещенными редкими окнами, проколотая гвоздями фонарей, шевелится среди знакомой утвари неспетых песен.

Нет, Фирсову надо объяснить. Он должен понять. С ним надо поговорить всерьез, подробно. Только бы Верейникова не было дома. Верейников, впрочем, хороший парень. Лучше Фирсова. Но дубина. Ржет, лошадь.

Фирсову надо рассказать, чтоб он немножко задумался. И тогда поймет.

Но дома — после щелчка выключателя — электричество безучастно осветило пустые койки, стол, жестяной чайник на нем. Ну, конечно: Фирсов где-нибудь функционирует в общественном порядке. Чорт с ним, в конце концов!

За перегородкой, в студенческом общежитии тенор взвыл с надрывом:

Я с Сенькой встретилась на клубной вечеринке,
Тогда картина шла «Багдадский во-ор»...

Титков взял со стола газету. С серых столбцов парадно и бодро глядели портреты: съезд хозяйственников. Титков прочел: «Тов. Иванов, Севкрай». У Иванова было усталое лицо в очках.

Тут стена качнулась перед Титковым. За стеной пели:

Глаза зеле-о-оные, утиль-сырье-ботиночки
Зажгли в душе моей пылающий косте-ор...

Держа в руке газету, расхаживая по комнате, натываясь — ноги не слушались — на острые углы стола, койку, шкаф, Титков бормотал с горечью:

— Ну, что ж теперь делать-то? Иванов, хорошее у тебя лицо. Устал ты, Иванов, рабочий человек. Скажи, что ж мне теперь...

Газетный лист упал, Иванов в последний раз взглядел на Титкова с пола. И взгляд у него был усталый и внимательный.

Когда Фирсов вернулся домой, Титков спал одетый. Мокрые его подошвы торчали на спинке кровати и рыжели свежей заплатой. Лицо, потерявшее синеватые льдинки глаз, было удивленным. И у раскрытого рта неясная бродила усмешка.

Фирсов сказал: «Последовательное свинство», — и поднял с пола газету.

9. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА С МЕФИСТОФЕЛЕМ

«Отзывы Мефистофеля о людях характеризуют его, а не их. Однако мои возражения против его оценок неубедительны.

Наш разговор с Мефистофелем — это игра в шахматы с самим собой».

«Нужно уметь видеть факты. Это не так легко. Из фактов делать выводы, обобщать. А не наоборот — с готовыми выводами подходить к фактам. Простая истина, которая почти никем не применяется в практической жизни».

«Я видел, как в двенадцать часов ночи работает Сергей Корнаков. Нас разделяла тонкая перегородка и стеклянная дверь. Корнаков сидел спиной к двери. Он чертил и пел. В час ночи он поднялся — уходить. Увидев меня, сказал рассеянно: «А, и вы здесь!» — и ушел весело, как на свиданье. После четырнадцатичасового рабочего дня! Это не только молодость.

М е ф и с т о ф е л ь. — Пел? Работая, горланил, то есть плохо работал.

— Пение помогает работе. Смотри историю культуры.

М е ф и с т о ф е л ь. — Пение даже колке дров мешает. История культуры, как и всякая история, фальсифицирована человеком».

«Сегодня в заводской газете крупнейшим шрифтом: «Когда наконец будет проведено в жизнь предложение т. Леонардо?» Подзаголовок: «Инж. Каневский маринует изобретения рабочих».

И ни слова о том, что консультация рабочих изобретателей по деревообрабатывающим цехам была

мне предложена в качестве общественной и, стало быть, добровольной работы.

Я достаточно занят. Декрета об упразднении личной жизни пока не было».

«Энтузиазм — металлическое слово. Сперва стук и взвизгивание приподнятого железного листа: энтузи... — и потом падение: азм!»

«Мефистофель. — Номенклатура человеческих побуждений спутана. Человек внес в нее беспорядок из чувства самосохранения».

« — Елена работает самоотверженно. Она изнашивает себя.

Мефистофель. — Энтузиазм? А если бы ей пришлось работать делопроизводителем в милиции, была бы она энтузиасткой?»

«Ко мне явился из редакции курносый юнец — фамилия его, кажется, Фирсов — и стал экзаменовать меня о проектах итальянца. Я ему ответил, что моя консультация — дело добровольное, так называемая «общественная нагрузка».

Тогда он заявил с апломбом:

— Добровольное в том смысле, что вы могли эту работу принять или отказаться. Но, взяв на себя обязательство, вы должны его выполнить.

Я его направил в Бриз. По инстанции.

Иногда трудно дышать. Каждый лезет в опекуны. Свою личность я зачеркнуть не дам».

« — Мефистофель, я не хочу говорить о себе.

— Что ж, поговорим... об энтузиазме. О комсомольцах в кузнечном цехе.

— Комсомольцы вернули своему цеху красное знамя.

— Футболисты тоже стараются завоевать своей команде первенство. Такой коллективизм в капиталистической Англии оброс столетиями».

«Утверждение Мефистофеля. — Людей, работающих бескорыстно, нет. Она переутомляется? Игроки за карточным столом тоже переутомляются. Однако их никто не подозревает в благородстве побуждений.

— Значит, Елена расчетлива? Неискренняя?

— Эгоизм не всегда расчетлив. Истерическая женщина готова на самоотверженный поступок ради одобрения окружающих, то есть ради утверждения собственной личности. Самоотверженность на службе эгоизма. Бывает нерасчетливое корыстолюбие. Мы знаем самоубийственное себялюбие.

— Но Елена?

— Она не мучается над балансом собственных пороков и добродетелей. Она живет. Впитывание в себя чужого одобрения, особенно мужского, для нее тоже жизнь. Но это для себя, а не для коллектива. Коллектив пригоден только в качестве фона».

«Город спит, не закрывая глаз. Чуткий сон желтоглазого хищника.

Тишина одиночества.

Лицо ее сердитое и нежное.

«Елена Леонова» — это как музыка».

«В тресте —

седой мягкий, плюшевый весь — Николай Иванович уютно ежился в кресле, а на него наседали небритый кудрявый парень, — видимо, инженер из новых. Разговор шел о допусках на припуски к машинной

детали № 1123. Кудрявый доказывал, что весовой признак не годится. Николай Иванович изнемогал в кресле,— ему мешал сдаться сорокалетний опыт.

Меня юни оба заинтересовали, я стал их разглядывать, пока они не повернулись ко мне вопросительно.

Тогда я отошел к окну. Ноябрь. В огромном окне, как на экране, колыхается город в белых шарфах метели. Оранжевая башня вокзала плывет в снежном дыхании, падает, исчезает и вновь появляется, грозя небу острой верхушкой. Город протекает мимо окон,— огромный, как тоска.

Надо найти дорогу к жизни».

М е ф и с т о ф е л ь.— Приглядываешься к новым кадрам? Думаешь через них прирасти к социализму?»

«А победа все-таки осталась за кудрявым. До сих пор я был убежден, что наши вузы выпускают только невежд. По крайней мере четыре года назад нашим старым пугливым профессорам и в голову не приходило поставить что-нибудь вместо «уд» студенту-тысячнику, коммунисту.

— Конечно, у нас к тысячнику надо относиться с почтением,— как, например, в Америке относятся к миллионеру. Но в Америке профессор, преклоняясь перед миллионами, все-таки не даст его обладателю зачета, если им не усвоена программа.

— Вывод? У нас лакеев больше, чем в Америке.

Кадры лакеев у нас подготовлены до революции, Мефистофель, этого ты опровергнуть не сможешь».

Конечно, присутствие Каневского их не стесняет. Ведь и он беспартийный.

Спорщики уже успели охрипеть.

— Вы, однако, не можете отрицать, что к ним тянется все лучшее в стране. Впрочем, не будем о нашей стране: вы скажете — чувство самосохранения и так далее... Но — Бернард Шоу, Ромэн Роллан, Андерсон, Драйзер, Андрэ Жид...

— Ах, Шоу, Драйзер. Им хорошо. Рафинированному интеллигенту Запада кроме материальной обеспеченности подай благородство идейной позиции. Как же — за рабочий класс! Против боен! За пролетарскую революцию! Я с удовольствием побыл бы на их месте. Пункт первый: прекрасный коттедж вместо моих двух клетушек, в которые от соседей ползут организованные клопные полчища. Пункт второй: отвращение идейных белоручек к крови, насилию, гнету. Эти писатели, конечно, за рабочий класс, который, кстати сказать, является для них читательским резервом. А отсюда ниточки к тиражам, то есть к тем же коттеджам.

— Простите, Иван Петрович, но это самый необоснованный... я бы сказал, обывательский скептицизм. По-вашему, и они неискренни?

— Зачем? Все это народ очень благородный. Спрашивать: искренно ли носит западно-европейский интеллигент свои прекрасные убеждения — то же самое, что задаваться вопросом: искренно ли носит буржуа свои чистые перчатки. Убеждения для интеллигента нужнее, чем перчатки. Это вопрос социальной гигиены: отгородиться от всего грязного, несправедливого, кровавого. Отгородившись и заклеивив, жить не в пример удобней и приятней.

— Что же, по-вашему, должны сделать эти люди, чтобы не заслуживать подобных упреков?

— Упреки? Наоборот: они ведут себя очень умно.

— Может быть они должны учредить коммуны нищих интеллигентов в недрах капиталистического об-

щества? Отказаться от своего заработка в пользу издателей? Чего вы хотите?

— Я хочу быть на их месте.

— Для этого, Иван Петрович, извините, у вас данных нет.

— То-то, что нет данных.

«Мой Мефистофель, оказывается, имеет вполне людское обличие.

Ивана Петровича, нашего молчаливого Иван? Петровича, сегодня прорвало наконец, и он заговорил голосом моего Мефистофеля. Он спорил с Ильяшенко. Тот сказал: «Обывательский скептицизм».

Мефистофель, у тебя интонации Ивана Петровича Полякова. Это грозит тебе дисквалификацией».

10. О ЧЕМ ТРУДНО ПИСАТЬ

В наше время трудно писать о любви.

Кто-то сказал: это потому, что о ней слишком много написано. Виноват Тургенев. И другие.

Мотивировка неверна.

Однако в нашей литературе любовь ушла с авансцены.

Пантелеймон Романов и Малашкин — не в счет.

Жизнь по-новому расставляет знакомые вещи.

Тем не менее любовь существует.

В жизни Сергея Корнакова она случилась в мае тысяча девятьсот тридцатого года.

Четырнадцатого мая в доме отдыха он играл со свердловщиком Гришкиным в шахматы. Гришкин проиграл. Потирая ладонью лысую голову, он сказал обиженно:

— Ничего выдающего, товарищ Корнаков.

Солнце уже уходило. Бухта легла внизу розовой раковинной.

Сергей спустился к ней по тропинке.

На набережной, у чугунных ворот часовыми стояли кипарисы. За оградой по-вечернему спутанно толпились кустарники и деревья. Сергей вошел в ворота, но, увидев перед собой маленькую дачу, по всем признакам частную, повернул назад.

— Куда же вы?

Обернувшись, он увидел коричневую босую женщину.

— Я думал, это городской сад,— проговорил нерешительно Корнаков.

— Мой! Мой пока,— нервно смеясь, крикнула женщина.— Но ведь вы не корова? И не свинья?

Сергей удивился молча.

— Тогда пожалуйста. Пожалуйста! Вы из Москвы? Ве-ка-пе? Я вас прошу: дайте мне адрес главного прокурора.

Она объяснилась. Ее фамилия — Боровская. Прохожие ломали ветки в ее саду. Сегодня мужчина в парусиновых штанах не спеша выбирал сук иудина дерева, чтобы вырезать трость. Вот даже остался порез.

Корнаков взглянул. Иудино дерево цвело. Цветы, насаженные на его голые прутья, были похожи на розовый шашлык.

Мужчина из рассказа Боровской, внимательно выслушав ее упреки, протянул: «А, вы из дворянок!»— и ушел, не вырезав трости. Вероятно, обиделся.

Но она устала мучиться. Ей нужен главный прокурор. Она кричала об этом Корнакову, как глухому.

На ее крики пришла девушка с круглым пушистым лицом. Это и была Лида:

Сергей Корнаков стал встречаться с Лидой каждый день.

Кругом стояли серьезные горы в красноватых морщинах. Натянутые на обручи, лежали на берегу мережи кремового цвета. Они были похожи на породных франтих в кисейных платьях. Мережи красят масляной краской — для прочности.

Дома вокруг бухты были припудрены розовой пылью.

Лида напевала: «Ты жива еще, моя старушка».

Сергею она отвечала несложно:

— Ясно. Факт.

Или — если смешно:

— Ой, не могу!

— Убиться можно!

Через несколько дней они начали гулять под руку.

К этому времени Сергей узнал, что она окончила семилетку.

Он удовлетворенно нес ее круглую руку с холодной жесткой ладонью.

Но Лида осталась недовольна. Она вырвала руку с досадой:

— Не умеешь ты!

Действительно, нужно было уметь. Это несложная наука, требующая однако тренировки.

Девчата сызмальства ходят, сцепившись друг с другом под руку — привыкают. Тут дело, кажется, в известном ритме, который дается только практикой. Заводские пижоны в этом деле практикованные. Когда девушка идет под руку с парнем, она слегка налегает на него — этого требует традиция — левым плечом и верхней частью туловища. Парень с отрадой подпирал этот сладостный груз. Таким образом, получается угол, примерно, в пятнадцать-двадцать пять градусов. Чем отношения теснее, тем угол выразительней.

Во всем нужна техника.

Сергей Корнаков, инженер, этого не знал.

Когда Лида заявила, что он не умеет ходить под руку, Сергей обиделся и пробовал возражать. Но замолчал: разговор становился глупым даже для влюбленных.

Вообще, что-то не ладилось. Но главное казалось ясным. Даже то, что сестра Лиды — собственница дачи — не имело большого значения. Неприятнее были фотографические карточки в семейном альбоме Боровских. Корнаков не любил об этом думать.

Часто выезжали они на лодке. Их встречала радостная синева моря.

Неимоверными голосами кричали чайки. Так кричит колодезный журавель в русской деревне.

Многомиллионная камса гонялась за крохотной ёмой; от этого море было покрыто сверкающими треугольниками.

Лида пела: «Ты жива еще, моя старушка».

Лодочник рассказывал про белугу, у которой в старое время чешуя была, как серебряные рубли.

Он смотрел на Корнакова укоризненно. На Лиду он совсем не глядел, стесняясь ее пения. Она пела плохо, заставляя его вспоминать знаменитых певуний из рыбацких артелей.

Плыли к монастырю, где был грот с малахитовым дном и плешивые горы, покрытые зелеными бородавками кустарников.

Так прошел отпуск.

Через три недели Сергей встречал Лиду в Москве, на перроне Курского вокзала.

Не сразу стало заметно, что они совсем не знали друг друга.

Первая ссора запомнилась — она произошла в театре.

В фойе печатал шаг военный, кавалерист. Выпуск

лая его грудь приподымала зеленую гимнастерку двумя мощными полукружиями. Щели монгольских глаз тонули в кованых скулах. Медное лицо лоснилось. Рябинки на нем казались изъязном металла. У него были кривые ноги природного конника. Кавказская шашка с чешуей серебряного набора плескалась о чугунные сапоги.

Лида наблюдала его с отвращением.

Из-за кавалериста и возникла ссора.

Глядя на него, Корнаков вспоминал о ДВА. Это был тридцатый год. Лида же назвала военного уродиной.

И они поссорились.

Они ссорились в продолжение двух антрактов, открывая друг в друге невыясненные раньше недостатки.

На сцене шла оперетка, высились льды, на льдах сидел высланный нэпман. Перед ним танцовали девушки с длинными косами, в красивых самоедских костюмах. Девушки танцовали, нэпман подпевал и веселился на льдах, видимо, от всей души.

Сергей глядел на сцену, ничего не понимая, и додумывал до конца обидные вещи про Лиду. Лида вытирала мизинцем уголки глаз. Оперетка, вероятно, в первый раз имела столь печальных зрителей.

Еще не появился на сцене положительный герой в телячьей куртке, порок в лице нэпмана еще не был наказан, а Корнаковы уже ушли из театра.

Ссоры стали повторяться.

Лида плакала от придиричivosti Сергея.

На Петровке еще попадались странные раскормленные женщины с птичьим, неподвижным взглядом. Их лица были раскрашены — черным и розовым. Среди них попадались элегантные уроды, и удивительным казалось, какие мужчины согласны оплачивать их котиковые футляры. Лида в своем грубошерстном пальто казалась себе — рядом с ними — ни-

чтожеством. Перед ней открывался уголок того мира, где все женщины нарядны, а мужчины почтительны и самоотверженны.

Сергей же сказал однажды: «Остатки нэпманских самок». Это было грубо. Кроме того, он говорил «пблты» вместо «пальто». К нему по вечерам заходили шумные парни в грязных сапогах. Они оказывались инженерами и кричали непонятные вещи до тех пор, пока соседка — сморщенная женщина — не просовывала в дверь тугую мочалку своих бесцветных волос:

— Нельзя ль поаккуратней? Людям покой нужен.

Тогда они садились за шахматы, забыв о Лиде. А ей хотелось спать. Она терла глаза, Сергей от нее отворачивался угрюмо. Инженеры же ничего не замечали.

Жизнь Лиды стала интересней после встречи с Верочкой, подружкой по школе. Верочка попала в Москву недавно, но уже успела измениться коренным образом. Она кривила рот, говорила «штэ» вместо «что», и лицо у нее было лиловым от пудры.

Верочка познакомила Лиду со Стаханским и Кирилловым.

Стаханский был шикарен. Он сделал себя под янки: бритые губы, бородка, струющаяся каштановыми прядями.

Кириллов смеялся над ним: янки с Якиманки.

— Моя гвардия, — представила их Верочка.

— А Адольф Адольфович? — многозначительно спросил Стаханский.

— О, тот — интендантство! Не волнуйтесь, Севочка: гвардия — вы.

Лиде было весело с ними. Она с оживлением рассказывала о новых знакомых Сергею. Но когда тот однажды увидел Стаханского, он сказал рассеянно:

— Сволочь, видимо.

Ветер кружил на бульварах сухой снег и мертвые листья.

Лиде пришлось возвращаться домой поздно ночью. В этот день она, Верочка, Стаханский и неизвестный разутюженный молодой человек оказались почему-то в комнате Кириллова. Там было красное вино и брызга. Потом шли по улицам, тесно сплетаясь руками. Стаханский напевал Лиде:

В музыке вы были бы капрично,
В скульптуре — статуэткой ренессанс...

Было два часа ночи.

У решетки бульвара зло металась по снегу рыжие лохмотья костра. Какие-то фигуры жались к огню.

Оборванная женщина отделилась от решетки и, подойдя к Стаханскому, спросила хрипло:

— Гражданин, а кто был главноуправляющим у Яра?

— Калмыков, — подумав, ответил Стаханский.

— Правильно. Сразу видно настоящего господина. Дай рублевку.

Разутюженный молодой человек посмотрел на Стаханского с завистью: вот это стаж!

Женщина отошла, послав Стаханскому воздушный поцелуй:

— Мерси за любезность! Простите, что без реверанса.

Прыгали мертвые листья. Сухой снег плыл по бульвару белыми лентами.

...В музыке вы были бы капрично...

— Лидочка, почему вы грустны?

— Совсем нет.

Наоборот, она сейчас думала: как легко с такими людьми, как Стаханский, Кириллов... Они и сами живут легко.

...В скульптуре — статуэткой ренессанс.

Начал падать снег,— задрожала белая кисея в масляных пятнах фонарей.

Подходя к дому, Лида вдруг услышала голос Сергея.

Сергей стоял с толстым человеком у подъезда и кричал.

Когда он замолк, начал кричать, размахивая портфелем, толстый.

Снег лениво падал им на плечи.

— Проект составлен с роскошью в площадях. Я так и заявлю на совещании, это ясно!— кричал Сергей.

Увидав Лиду, он с неудовольствием оторвался от спора.

Стаханский исчез с преувеличенным испугом.

Толстый сказал, свирепо глядя на Лиду:

— Одну минуточку.

И, повернувшись к Сергею:

— Ты не хочешь учитывать возможного роста.

Лида ждала упреков. Ее возвращение — в третьем часу ночи, под руку со Стаханским — должно было вызвать подозрения.

Сергей засмеялся:

— Ну, ладно, Парфеньч. Завтра доругаемся.

— Завтра, завтра... рост надо, надо учитывать, вот что, милый.

Толстый ушел, махнув на прощанье портфелем.

— Это — наш Парфеньч,— сказал вполголоса Сергей с таким видом, будто сообщал Лиде что-то очень приятное.— Парфеньч, техдиректор.

Где была Лида, он не спросил.

Ничего, похожего на ссору, не произошло.

Придя домой, Сергей разделся и мгновенно заснул. Это было обиднее самых грубых упреков.

11. ГОВОРИТРУБ И ЯЗЫК ЦВЕТОВ

Снаружи Гум облепила деревянная клетка лесов.

Внутри, по стенам, как птичий помет, текла известь. Проходы были пусты, под стеклянной крышей голоса строителей раздавались гулко, как крики птиц. Солнце не спеша просунуло в этот мир свои рукава, запылив их по дороге.

Внизу уже открылись магазины с надписью: «Туалетного мыла нет». Киоски запахли ванильной гарью, хвастаясь штабелями трубчатых вафель.

Унылая женщина ела розовое пирожное и призывала всех к поискам счастья. Ее прилавок был уставлен убогим изобилием стеклянных пепельниц, коробочек, игральных карт и бюстов Пушкина. Между Пушкиным и игральными картами кружилась в вальсе никелевая стрела и вращался барабан лотереи.

Ликующе грянул оркестр сверху. Там, на третьей линии, окопались учреждения. Их нужно было выселить — для расширения торговли. Выселяться они не хотели. Они не знали адреса, им предлагали переехать в неизвестность, очистив Гум. Неизвестности учреждения боялись.

Страхкасса номер два заявила — уже с неделю назад — что без жилплощади она никуда не поедет. К страхкассе примкнул ряд непокорных учреждений.

Тогда к ним прикомандировали оркестр.

Оркестр воинственно гремел маршами и грустил вальсами. Служащие учреждений не могли разговаривать. Стекла контор вздрагивали от жаркого говора труб. Сотрудницы млели в звуковой ванне старинных вальсов, карандаши падали из их рук.

Учреждения не сдавались, они настаивали на жилплощади. Тогда прислали второй оркестр, — чтобы в музыке не было перерывов.

Отгустив «На сопках Манчжурии», трубы рвали «Яблочко».

Антракт наступал только в полпервого, когда сотрудники страхкасы и их соседи шли завтракать. Тогда музыканты вытирали инструментам рты и вытаскивали из карманов бутерброды. Выживаемые ими учреждения шли вниз.

Внизу, деловито отгородив полкоридора, возник буфет с румяной продавщицей и единственным блюдом — винегретом.

Продавщица задумчива, она не отвечает на вопросы.

Ей есть о чем подумать: совсем недавно началась весна ее жизни. Она, может быть, вспоминает вчерашнего Гришу или Макса. Посетители ей мешают, она рассеянно протягивает им тарелки с незатейливым натюрмортом.

Съев винегрет, учреждения идут наверх, на третью линию. Завидев их, капельмейстер поспешно откашливается и стучит палочкой. Музыканты округляют щеки. Марш Буденного бодро режет воздух, приучая совслужащих к военной походке.

Завстражкассой берет портфель:

— Ну, я в областком.

После его ухода машинистка напевает в такт музыке:

Он поехал в областком, в областком, в областком...

Секретарь, Лидия Корнакова, подходит к телефону: два—шестьдесят девять—четырнадцать.

— Верочка? Я к тебе в восемь. Да, на весь вечер.

Если бы Сергей служил в страхкассе, может быть, по вечерам он сидел бы дома.

Подснежник: Отчего вы мне не ответили?

Лидия: Вовсе нет.

У Гриши Милованова галстук бабочкой. У Гриши гетры на ногах. Гриша смотрит томно, с намеком.

Он говорит:
— Незабудка.

Лида ищет на карточке забудку.

Карточки засалены. У них большой производственный стаж. По ним в свое время тренировались во флирте Гришины тетки. Это была неправдоподобно далекая эпоха. От нее остались засаленные карты — «Язык цветов», розовый бант на гитаре, петие фотографии молодых людей с копнами завитых волос и напряженными бараньими лицами.

Незабудка: Трудно найти идеалы любви.

Гриша смотрит многозначительно и печально.

— Астра, — отвечает Лида.

— Ваш супруг, Лидия Николаевна, получил новое назначение. Гелиотроп.

— Какой вы смешной, Гриша! Когда же наконец придет Верочка?

— Сестра сегодня перегружена. Запоздает.

Гриша начинает рассказывать анекдот про отшельника, которому было предложено выбрать один из семи ответов.

Гелиотроп: Чужды вам страсти и чужды страданья.

12. ЧУЖИЕ В ЦЕХЕ

Григорий Милованов, нормировщик, открыл дверь механического цеха.

Станки встретили его равнодушно.

Холодно поблескивал металлом новый импортный токарный станок. В нем — подобранном, четком, щеголеватом — было что-то военное. Красные полоски на серой его одежде походили на нашивки, петлицы, канты.

В стороне вагонные колеса — заказ НКПС — выстроились в ряды, как на параде. Чуть склонясь на-

бок, — скосив шеренгу, — они, казалось, делали выпад.

Дальше высились револьверные, сверлильные, строгальные станки.

Милованов был равнодушен к машинам, ему не нравился их холодный блеск. Они отвечали ему взаимностью, не открывая несложного секрета своих движений.

В цех Милованов заходить не любил, как не любил вообще первую половину дня, начиненную скукой и возможными неприятностями. Во второй половине дня были — гитара, романс «Ах, эти черные глаза», подруги сестры Верочки, кино, бульвар.

Первая половина дня тянулась долго.

Милованов поднялся на второй этаж механического.

С некоторыми рабочими он обменивался приветствиями:

— Почтение!

— Ивану Игнатьичу!..

Усердно склоненная над тисками фигура Полуярова вызвала в нем раздражение: из кожи лезет вон, старый чорт! Бриз завалил «предложениями» — и все мелочь: передать на электросварку педальную трубку, заменить дефицитный цветной металл черным, упростить путем приспособления — обработку, сократить расходы на пайку.

А из-за этих мелочей нормируй ему все заново.

— Вкальываешь, отец? — спросил он ядовито.

— Втыкаю.

— Ну, вали, вали!

Милованов поглядел на Полуярова и, вытащив записную книжку, что-то пометил в ней.

Сосед Полуярова — горбоносый, похожий на кавказца Изидоров — замедлил работу, пока проходил Милованов.

— Все записываешь, — сказал он с обидой, — как бы прижать рабочего, мечтаешь.

— А ты как думал?

Милованов пошел дальше, с усмешкой наблюдая, как кругом — при виде его — рабочие замедляли работу.

У пролета стоял Чевкин, завоборудованием цеха. Он объяснял что-то неизвестному Милованову человеку.

Милованов прислушался: речь шла о рационализации заявок на текущий ремонт станков. До сих пор рабочий — при порче ремня или при другой мелкой аварии станка — должен был искать монтера, который мог оказаться в любом конце цеха, только неизвестно, в каком именно. На поиски уходило рабочее время. Чевкин предлагал: каждому станку дать по три шарика; цифра на шарике показывала характер ремонта (лопнул ремень, нужна смазка), кроме того шарик был обозначен номером станка. Со второго этажа вниз, в конторку монтера, должны идти желобы. Рабочий опускает в желоб шарик, который и катится по назначению. Как только монтер освобождается от работы над очередной починкой, он возвращается в свою конторку и, найдя шарик, сразу — по цифрам на нем — видит: во-первых, какой станок нуждается в ремонте, во-вторых, — в чем именно состоит ремонт, и, стало быть, узнает, какой инструмент ему надо захватить с собой.

Чевкин вынул из кармана шарик. Он был свинцовый, с двумя вдавленными по бокам цифрами.

Милованов подумал с неудовольствием: в бирюльки играют, кому это надо?

У грузового лифта ему повстречался Павлюков, приятель. Он с шутовской почтительностью пожал руку Милованову.

— Начальству — почтение!

— Как дела, Ваня? — спросил, закуривая, Милованов.

— Да вот опять нагнали татарвы. Сегодня двоих поставили. Гыр-гыр-гыр, работать не могут, смехота!

— Ничего, чорт с ними!

— Ничего-то ничего. А все ж таки, как бы сказать, обидно. Что нашему брату горбом досталось, им чуть не силком вшихивают: пользуйся.

— А по мне, пусть бы хоть китайцы, японцы, черти-дьяволы пришли, лишь бы эти поряdochки кончились.

Павлюков вдруг состроил глупую мину. Милованов оглянулся. Неподалеку, у кипятильщика, цедил воду в кружку Матвей Кашицын.

Ну, этот не страшен.

— Ты это что ж, по японцам соскучился? — спросил Кашицын, звеня кружкой. — Советская власть надоела?

— Хоть бы и надоела, не твоего ума дело.

— Шкура ты!

— А ты что, в партию мылишь влезть? Пока не влез, помалкивай в тряпочку. Вот ведь... — обратился он к Павлюкову, но Павлюков в самом начале ссоры опасно исчез.

— Не влез, нет, не влез, — проговорил Кашицын, оглядываясь по сторонам. — А помалкивать отвыкаю. Малышев, ты слышал?

Малышев стоял в двух шагах, за решеткой лифта. Его глаза потеряли обычную ласковость. Не отвечая, он двинулся к своему станку.

— Ты слышал разговор? — догнал его Кашицын.

— Ничего я не слышал.

— «Не слышал». А стоял за лифтом. Притаился? Ты рабочий человек или кто?

— Не мене твоего поработал.

— На кого работал? Я разберусь. На святого турецкого?

— Да, на святого турецкого... На турецкого, да.

Мальшев опустил глаза, потом поднял их, и Кашицын увидел: он нажил себе еще одного врага.

«Как бы дурак шуму не поднял, — взволнованно думал Милованов, спускаясь по лестнице. — Павлюков-то хотя не выдаст».

Внизу, в первом этаже, он снова увидел Павлюкова. Тот, подмигивая ему, крикнул чернорабочему Галиму Абрахманову:

— Абрахманов, шурум-бурум таскал?

Татарин, блеснув зубами, беззлобно выругался.

— Абрахманов, ты князь? А на морде грязь.

Тогда Абрахманов, отвернувшись, ушел в другой угол цеха.

Павлюков, снова подмигнув Милованову, залился смехом.

18. ГЛАВИНЖ

Когда Талызин впервые пришел на площадку строительства, он понял: придется воевать.

На каждом участке встречались слонявшиеся без дела люди. А по подсчетам главной конторы нехватало нескольких сот рабочих.

У фундаментов для нефтяных баков группа женщин — строительных рабочих — бездельничала организованно, с песнями.

Тачки валялись возле них, подняв кверху ручки, — как рога. Талызин подсчитал: восемнадцать человек не работают.

Прораб, с испугом глядя на карандаш главинжа, размахисто заходивший по блокноту, крикнул:

— Девчата, что ж это вы? Почему не работаете?

— Да мы ж работаем, — ответила лениво одна из них и стала подыматься.

За ней — остальные.

Карандаш главинжа сломался. Главинж сжал губы, не пуская наружу рвущуюся ругань.

Навстречу ему женщина везла тачку с кирпичом. Лица ее не было видно из-под низко спущенного сидевого платка. Голова женщины тряслась от напряжения, как у старухи. Тонкие ноги, обмотанные онучами, скользили в широких лаптях. Было похоже, что лапти надеты для смеху, в них ноги были как в блюдах. Они были привязаны к ногам веревкой, — чтоб не спадали.

Талызин остановился. Женщина подняла лицо; она оказалась девушкой-подростком, тяжесть была для нее непосильна, — тачка, вздрагивая на досках, трясла ее худые руки.

— Подтянуться надо, Могораз. Подтянуться. Участок, что ли, для вас слишком велик?

Главинж опустил глаза и скрипнул зубами.

«Вот чертило! — испуганно подумал прораб. — Не даром слух шел...»

— Этот подросток у вас надрывается, а здоровые бездельники... Эй, там, на бревне, не раскуривать! — заорал Талызин, и присевшие поодаль в веселой беседе два парня спешно снялись с бревна, пряча кيسеты.

— Да ведь народ-то... Не уследишь за всем, — виновато произнес Могораз.

Главинжу хотелось кричать. Ему хотелось сейчас же приказать с военной жесткостью: прораба — сместить! За неумелую расстановку сил. За отсутствие контроля.

Он посмотрел на сломанный карандаш. Нужно еще подумать, откуда достать другого прораба. Людей мало. Этот, видимо, труслив, не хочет ссориться с лодырями. Считает, что этой ценой он купит мирные отношения с рабочими.

— С кем-нибудь все же придется вам ссориться,

Могораз. Или с лодырями или со мной... Буду почаще бывать на вашем участке.

В первый же выходной день Талызин обошел всю территорию завода.

В складе материалов не было никого. Дверь — настежь. Потом появился откуда-то огромный вялый парень в оранжевом полубубке.

— Ты кто — сторож? — спросил Талызин.

— Сторож.

— Что ж ты пускаешь в склад, не спросив документа?

— Та як же! Спрашиваю.

— А у меня не спросил!

— Ну, уж идите, — снисходительно разрешил парень.

— Как это такое «идите»? Ты меня знаешь в лицо, что ли?

— Та нет.

— Голова-то у тебя где? Ведь тут материалы, дорогие материалы сложены! Никого не пускай без документов, понял?

— Понял.

В модельной сухонький старик — лицо с кулачок — отворил Талызину дверь и пошел следом.

— Тебя как зовут, отец?

— Сериков, Иван Петров.

— Ты это что ж, Иван Петров, пускаешь сюда людей, не спрашивая документы?

— Когда это?

— Да вот сейчас. Ты меня знаешь, что ли?

— Нет, не признаю.

— Так как же ты меня впустил?

— Да уж вижу — по делу.

Талызин начал сердиться всерьез.

— Откуда ж ты это видишь?

Сериков почувал неладное.

— Тогда иди в обрат! Иди, я тебя не допускаю.

— Вот это другое дело. Теперь смотри: документ с фотографической карточкой. Я назначен сюда главным инженером.

— Что ж документ, почему я знаю... Иди в обрат. Не допускаю!

— Ты неграмотный?

— Грамотный.

— Так вот же читай — удостоверение. С печатью, с карточкой. У каждого спрашивай такую книжечку.

В чугунолитейный ход был через пристройку. В пристройке у груды железа копошился бородастый человек. На приход Талызина он не обратил внимания, продолжая напевать протяжно:

Во субботу, в день ненастный...

— Ты кто — сторож? — прервал его Талызин.

— Сторож.

— Нельзя пускать в цех без пропуска.

— Нельзя? — весело удивился бородач и показал ряд белоснежных зубов.

Талызин свирепел все больше.

— Вот чорт-то! Инструкция у тебя есть? Не должен был впускать меня без предъявления документа.

— Ничего, идите. Идите, говорю.

Сторож расцвел счастливой улыбкой.

— А вот я сниму тебя завтра с работы, так будешь знать — «идите»! — Талызин загляделся на улыбку бородача: — Давно из деревни?

— Два месяца.

— Вот ты впустил меня — неизвестного человека, а я пойду и адскую машину — бомбу такую — оставлю в цеху. Через полчаса взорвется — понял?

— Бомба нам ни к чему. От бомбы вред.

Дальнейшие встречи с охраной происходили в таком же духе. Хорошо поставлена была только военизированная охрана у входа на завод. Но строительство не было ограждено сплошным забором, а через колючую проволоку легко было перешагнуть и пройти мимо часового.

К сталелитейному цеху Талызин пришел уже накаленный. Здесь, собственно, и охрана была не нужна — еще только строилась коробка цеха.

Но — уже по инерции — Талызин спросил встретившегося у вольткрана человека в тулупе:

— Ты меня видал, что ли?

Тот неожиданно заявил:

— Думается, видал.

— «Думается»! Ничего тебе не думается. Кто ж я такой, по-твоему?

— А, должно стать, Талызин, новый главинж. Слышно было: сердитый, землю роет. Думается, это ты и будешь Талызин.

Не прошло и месяца, а число обиженных новым главинжем было уже изрядным.

У подъездных путей беспорядочными грудями, бесхозяйственно, частью раздробленный, лежал дефицитный лекальный кирпич. Талызин нашел виноватого и провел ему выговор в приказе.

Начали строить забор вокруг территории строительства — и он сразу же налез желтым своим сосновым брюхом на рельсы. Не был учтен габарит. Инженер Заводстроя объяснил: построено точно по проекту. Возможно, в проекте ошибка. Но проект составлял не он. Талызин, не вытерпев, выругался — крепче, чем позволяли отношения с Заводстроем, контрагентом.

У котлованов нового чугунолитейного цеха он проbral молодого техника за то, что тот не знал параллелограмма сил, — тяжелый молот при установке дол-

жен был завалиться в котлован более легкого агрегата.

— Слушай, — спросил его однажды Рилль, — что там у тебя за история? Тебя вызывают на бюро?

— Какая история?

— Ну, там самоснабжение... бензин, ерунда какая-то. И потом будто ты груб со специалистами.

— Да, самоснабжение.

Талызин набрал полную грудь воздуха, помолчал, выдохнул. Опять перебои сердца.

— Ты дурака не валяй, — рассердился Рилль, — расскажи, в чем дело.

— Да что ж рассказывать? Самоснабжался бензином. Факт.

— Ты все остришь. Ну, твое дело!

Рилль отошел.

Об этом же пробовал заговорить и Корнаков. Талызин сказал ему:

— Оставь. Меня втягивают в склоку.

— Но надо же дать отпор!

— Не имею права тратить на это время и силы. Спросят на бюро — отвечу.

История с бензином не отличалась сложностью.

Часто Талызина отвозил на дом Федор Суслов, шофер.

Талызин жил один. Семья была в Кисловодске. Он иногда — поздно вечером — приглашал Федора зайти, выпить чаю. Федор был не только шофер, он был товарищ по партии. Правда, почтительность его не нравилась Талызину, из вежливости вещи главинжа он называл ласкательно: телефончик, кровать, стаканчик.

Узнав, что шоферы получают горючее без всяких хлопот, Талызин попросил Федора достать ему литр бензина. Без бензина трудно было готовить чай. А

самому итти в нефтелавку казалось делом недопустимым.

Федор Суслов вскоре получил премию за то, что сделал в общей сложности пятьдесят тысяч километров без простоев машины на ремонт.

И вот — дело: шоферу Суслову выдано сто рублей за то, что он стоял для начальства в очередях за продуктами. В частности, Талызина снабжал бензином. Дело: 1) об использовании главинжем своего служебного положения в личных целях, 2) о самоснабжении.

Бензин — продукт? Продукт.

Талызин старался об этом не думать. У него достаточные заслуги перед партией, чтобы эта ерунда могла ему повредить.

Однажды он узнал, что его окончательно решили вызвать на бюро ячейки для объяснений. Ерунда с бензином оказалась кем-то умело организованной. А он имеет право думать сейчас только о сталелитейном. И еще о задержавшихся доставкой кранах для чугунолитейного. О водозаборе, который должен быть построен к пуску новых цехов.

Талызин почувствовал свое тело, налившееся вдруг усталостью.

Это — годы, они наваливаются вязкой глыбой на плечи. Им надо дать отпор. Нужно бороться с инерцией возраста.

Из окна главной конторы он увидел, как машина с начстроем стала пробираться среди разворошенного строительного хаоса — кирпичных груд, бревен, досок. Гряда железной арматуры была похожа на рыжий кустарник, оголенный наступившей зимой. Лекальный кирпич с черными пятнами отверстий казался издали кучками домино для игры гигантов.

Талызин пошел к себе — в здание ОКСа.

В сенях ОКСа стояли строительные рабочие. Один из них кричал, ликуя курносым лицом:

— А я ей говорю: «Ты что ж это, стерва!..»

При появлении Талызина он увидел по лицам себе-седников, что кричать дальше нельзя, и смолк.

— Вы это что тут, ребята? — спросил главинж и, не слушая ответа, прошел к себе в кабинет.

Волей-неволей приходилось думать о чепухе.

Не сам же Федор надумал подать заявление в ячейку. За его спиной кто-то скрывается. Талызину этот «кто-то» представился вдруг с нелепой ясностью: человек с хитрым ужим, как щель, лицом и почему-то в лисьей пушистой шубе. Таких и нет совсем на заводе.

Не постучав, вошел Корнаков и сказал с досадой:

— Под тебя Дубин-Корень копает.

14. ПЛИТА ЕГО ВЫСОЧЕСТВА

Это была голубоватая глыба с легкой прозеленью. Таковую расцветку имеет зимнее небо в сильные морозы. Трехрядный частокол золотых литер был вдавлен в мрамор. Неважно, какое имя было на надгробной плите: не то Олег и отчество, не то Игорь и отчество, — словом, что-то древнеславянское и великокняжеское.

Когда-то под плитой лежали кости человека, замечательного только своей любовницей, — любовница была нервной породистой женщиной из Выборгских мещанок. Императорский балет стилизовал природную грацию ее точеных ног.

Сам же великий князь имел нос луковицей и феодалные усы в рыжей проседи. Когда кончилась эта пышная и пустопорожня жизнь, ее конец был отмечен мраморной плитой с золотой цепочкой букв.

Плита была водворена в фамильный склеп.

С привычной монашеской печалью ель протянула над склепом зеленые рукава своей рясы. Высокомерная звонкая решетка караулила великокняжеский прах; и на ней тоже блестели золоченые буквы и орлы. Вороны садились на звонкий чугунок, чистили о него клювы и, недоверчиво оглядываясь, гадили на золото букв.

За время революции склеп оброс травой и кустами.

В семнадцатом году, в хорошую погоду солдаты играли возле него в свои козыри.

Потом шли дожди, шел снег. Шли дни мимо этой могилы, но мрамор, чугунок и золото букв остались прежними.

И теперь монтер Федор Баркан узким долотом вырывает золоченую вязь, как хирург вырывает полипы. Он подпиливает каждую букву пилкой и затем шкуркой чистит оставшийся после нее желобок. Потом он высверливает в мраморе четыре пулевых отверстия. И плита, тяжелая, ставшая безымянной плита, привыкшая десятилетиями к покою, подымается по канату вверх и укрепляется винтами на железном каркасе. Это длинный черный каркас из углового железа, на нем препарированная Федором Барканом плита заполняет одну восьмую часть. Остальное место занято другими мраморами — такими же безымянными, голубыми, отличающимися друг от друга только разливом жил. Все вместе они составляют щит, распределительный щит. На нем бывшая великокняжеская плита начнет трудовую жизнь. Ее окружают строгие вещи электроподстанции номер два, ведающие моторами цехов.

На мраморе размещены амперметры, похожие на огромные компасы. Черные вилки рубильников легли шеренгой. Ручки их подняты — ток включен.

На противоположной стене воспаленно глядит крас-

ный глаз: лампочка, показывающая напряжение в шесть тысяч шестьсот вольт.

Когда рубильники выключат ток, глаз станет зеленым. Это похоже на светофор железной дороги.

Инженер Каневский стоит у распределительного щита.

Будничная деловитость монтера Федора Баркана, рационалистическая мобилизация великосветских надгробий, мотильный камень, вошедший в ряды вещей, движущих производство, — ненависть или преклонение должно это вызвать?

Инженер Каневский иронически усмехается, он хочет иронией закрыть от самого себя то неотрывное и близорукое всматривание, с которым он следит за пламенным рационализмом эпохи.

Две оценки: ненависть, преклонение.

Нет ли третьего вида оценки: расчетливое, хозяйское одобрение высококачественного мрамора — одобрение, разбавленное досадой на то, что в калькуляции расходов по оборудованию подстанции статья на транспорт тяжелых надгробий из Ленинграда оказалась изрядной?

Инженер Каневский медленно идет от подстанции номер два к старой кузнице. Итти нужно вниз, и поэтому над крышами пехов видны перелесок, поле, пылающие перья заката.

«Какие дела-то делаются... Европы постыдились бы!» Это сказал о потревоженной великокняжеской плите один рабочий из механического цеха.

Первая из оценок, пришедшая в голову инженеру Каневскому, — ненависть. Да, это была ненависть, хотя рабочий ласково шурил и перебирал пальцами шелковую свою бороду. Рабочий! Вот пусть бы психологи-марксисты пришли сюда из своих комнат и разобрались бы... Впрочем, какое ему-то, Каневскому, дело до всего этого? Неприятно одно: сверловщик, осуждая

хозяйственную беспощадность большевиков, говорил ему об этом пониженным тоном. Пониженным тоном, вполголоса, как сообщнику. Это старый рабочий. А молодые? Скалящие зубы, напевающие свои разухабистые песенки — и эгоистичные, по-звериному эгоистичные во всем...

В кузнице уже не слышно было оглушающих вздохов парового молота. В углу цеха темнела толпа рабочих, над нею рос гул. Из толпы вышел техник Адрианов и бросил на ходу:

— Не ваше дело. И — кончено. Это дело администрации.

— Как это такое — не наше дело? Я официально говорю: шабот не выдержит, — сказал пожилой рабочий с измазанным сажей носом, — должно быть, кузнец или кочегар.

Адрианов остановился.

— Инженер хуже тебя понимает?

— Я инженера не касаюсь. Инженер больше образованный, чем я. Я об шаботе; шаботу не выдержать.

— Да ведь инженер-то, Борисов, его осматривал? Стало быть, все ж таки выходит, что ты его умней?

— Не об уме спор!

Каневский подошел и стал прислушиваться. Увидев его, Адрианов начал объяснять, в чем дело. Собрались старички и булгачат. Адрианов улыбался конфузливо, — словно извиняясь за глупость собравшихся и сожалея о них. Только что доставили отремонтированный шабот для пятитонного молота. Трещина в шаботе залита чугуном — ремонт как будто сделан аккуратно, все в порядке. А старики беспокоятся.

— Пускай товарищ инженер Каневский поглядит. Пускай он нам объяснит, — сказал рабочий с черным носом.

— Да постой ты! Опять про белого бычка. Я им

втолковывал: и инженеру Борису и мне хорошо известно, что шабот недолговечен. Но если он даже только с месяц проработает...

— Шабот лопнет, я тебе говорю! — крикнул вдруг стоявший поодаль седоусый рабочий с багровым лицом.

Адрианов утомленно вздохнул и поглядел на Каневского: толкуй вот с ними... Помолчав, он продолжал:

— Если он даже с месяц только продержится, и то себя оправдает. Четыреста рублей, затраченные на ремонт, это ж гроши. Они окупятся. Останавливать молот для нового ремонта мы не можем. Неужели непонятно?

— Пусть товарищ Каневский поглядит. Как инженер, — настаивал черноносый.

— Я не хочу вмешиваться в чужое дело, — ответил Каневский сухо.

Постояв нерешительно, он отошел.

— Чужое дело, вон как!

Этот возглас, пущенный ему в спину, рассердил его. Он, не обернувшись, ускорил шаг. С какой стати он станет вмешиваться в распоряжения Борисова? Однако из всего видно, что техперсонал не пользуется авторитетом. И какое им всем дело — лопнет шабот или нет? Чего они волнуются? Делал бы каждый свое — порядку больше было бы. Дисциплина называется! — каждый рабочий спорит с администрацией.

Он споткнулся. Под ногами — обломки, обрывки железа. Вот убрать это, привести цех в надлежащий вид — об этом никто не подумает.

На дворе он столкнулся с мастером сборочного цеха Ивановым. Иванов рылся в чем-то, приглядывался к земле, уже неясной от наступавших сумерок. Мастер Иванов выпрямился и уважительно поклонился инженеру Каневскому. Он был из старых солдат.

Служил он в военной службе со вкусом, был унтером в учебной команде. Оттуда вынес военную выправку и любовь к подчинению. Любил подчинять себя начальству, а подчиненных — себе.

— Пустячка вот ишу, Георгий Иосифович. Державок несколько. Без них у нас в сборочном затор.

Он улыбнулся сдержанно. Будто прицепил — для вежливости — улыбку на свое плоское, крепко сбитое лицо. Но серые глаза остались холодными.

— Хоть и не дело это, а партизаню по цехам. То за державками, то еще за чем-нибудь...

Он, выпрямившись по-солдатски, проводил Каневского взглядом и снова нагнулся к груде железа.

Настроение Каневского портилось все больше.

Появилось знакомое, вязкое чувство: словно липла к лицу паутина; ее хотелось смахнуть, привести что-то в порядок, очистить мысли от невнятицы.

Все это было от спора рабочих в кузнечном цеху. Рабочие, конечно, неправы. И все-таки в их отношении к шаботу было что-то такое, от чего его собственное — Каневского — поведение начинало ему не нравиться.

Он поднялся к себе наверх, в контору.

Служащие канцелярии уже разошлись после работы. Внизу слышны были голоса, хлопала дверь. Но тишина уже завоевывала здание.

Каневский сел за письменный стол.

Что-то похожее на дремоту на секунду охватило его. Он вдруг почувствовал, как мимо него течет жизнь. Это было чувство, не передаваемое словами. Через миг оно исчезло. В памяти осталось только что-то несвязное, не соединенное логикой: вддали темнел лес, топоры звенели, и домны полыхали, и люди возбужденно о чем-то говорили, спешили куда-то и почему-то хлопали на ходу рукавицами.

Скрипнула дверь, в комнату вбежала Маврина, се-

кретарь. Она кинулась к своему столу, судорожно схватила какие-то бумаги и дико взглянула на Каневского:

— Там сейчас человека убили!

15. ВРАГ У РАБОЧИХ БАРАКОВ

На открытке было напечатано красным: «Куда, куди, куды», «кому, кому, каму» — и нарисована глянцево-коричневая свекла. К свекле бежала витая надпись: «Только хорошо разделанная перед посевом почва обеспечивает...»

Галим Абрахманов внимательно прочел надписи и, полюбив карандаш, написал рядом со словами «Куда, куди, куды» — адрес: село Чексары, Нижняя Волга, Фатиме Абрахмановой. Он подул на написанное и спрятал открытку в карман.

Потом он вытащил из-под кровати старые сапоги и вышел из барака.

В поле, по дороге к заводу Абрахманов услышал крики. Он остановился. К нему подбежали трое.

Самый высокий из них, сжав пальцы правой руки, повел ими по воздуху и спросил:

— Где взял сапоги?

— Где взял? Из-под кровати тащил. Баран! — рассердился Абрахманов.

Высокий, глядя на свои сжатые пальцы, побледнел и оглянулся назад.

— А ты еще и лаяться! Стащил — и лаешься?

Он ударил Абрахманова в висок.

Ударив, он выронил зажатую в кулаке гайку.

Тогда к Абрахманову подскочил другой — борода-тый, низенький.

Галим упал.

Рядом с ним легли сапоги. Высокий рванул их с земли за ушки:

— Держи, дядя Трофим! Твое добро.

Абрахманов лежал неподвижно. Кровь несмело набухала на его виске.

Через минуту к упавшему стеклась толпа.

Негромкий шум над нею был зловец.

В стороне стоял Малышев, щурясь и теребя бороду. К нему подбежал человек с сапогами в руках. Его лицо было потно. Он выдохнул сильным шопотом:

— Сапоги-то не мои. В моих задники не те. А тут вон задники-то какие...

— Уходи, дурак. Убьют, — хмуро сказал Малышев.

Человек с сапогами отбежал, повторяя:

— Что ж теперь, господи?.. Что ж теперь-то?..

Кашицын встретил бегущих рабочих.

Он крикнул им:

— Куда, ребята?

— Да вот к баракам. Не то пожар...

Кашицын поглядел им вслед. У бараков шевелилась черная толпа.

По полю, спотыкаясь и придерживая кобуру револьвера, бежал милиционер.

Кашицын взглянул на часы, висевшие под крышей главной конторы: до второй смены оставалось сорок минут.

Он пустился бегом к баракам.

Подбегая к толпе, он услышал скомканые слова:

— Они воровать, а мы в рот им глядеть... Так, что ли?..

Голос показался ему знакомым.

Кашицын стал проталкиваться вперед, толпа раздвигалась неохотно.

— Тебя куда несет? Следовательно какой проследовал!..

Кашицын увидел лежащего Абрахманова. Взбухшая на его виске кровь скользнула тоненькой струйкой по щеке и задержалась около уха.

Слабей, Кашицын оглянулся.

Поодаль стоял Малышев и спокойно гладил бороду.

— Вот он! — крикнул Кашицын.

Он подскочил к Малышеву и схватил его за воротник.

— Товарищ милиционер, вот он, держи его!

— Граждане, застойте меня от этого человека, — проговорил Малышев, отводя его руку, — жизни не дает.

— Имеете доказательства? — деловито спросил Кашицына милиционер.

— Какие доказательства! Малышев позже всех прибежал. Этот гражданин зря трепется, — сказал голос из толпы.

— Доказательств не имею, — пробормотал Кашицын.

К нему подошел Изидоров, слесарь из механического.

— Пойдем, Матвей Захарыч. Неорганизованный ты человек!

— Неорганизованный, — задыхаясь, подтвердил Кашицын. — Ну, я себя организую.

У главной конторы плакат:

**ТОВАРИЩИ, ДАДИМ ОТПОР КЛАССОВОМУ ВРАГУ В
ЛИЦЕ ШОВИНИСТОВ, ИЗБИВШИХ РАБОЧЕГО АБРАХ-
МАНОВА!**

— Завком, как всегда, регистрирует события.

— Но не мог же он заранее предвидеть...

— Тут надо было не предвидеть, а просто видеть. Кто не слышал у бараков шуточек: «Эй, халат, шурум-бурум!», «Князь, татарская образина»? А в чем выразилась воспитательная работа завкома среди строительных рабочих?

Из записей Каневского.

«Вчера из-за пары сапог чуть не убили рабочего-татарина. Случайно не законченное убийство. В какой европейской стране возможно подобное зверство? Такую дешёвизну человеческой жизни знает только Азия».

— Я просил,— сказал Леонардо, вставая.

Председатель закивал успокоительно головой, поднял руку: подожди, мол.

— Я просил давно! — крикнул Леонардо, и глаза его потемнели.

Председатель откашлялся.

— Слово предоставляется товарищу Леонардо.

В зале захлопали.

Леонардо рванул с шеи свой клетчатый шарф.

— Здесь завком говорил: виновный буди наказан. Классовый враг, да. Очень, очень надо наказать. Кто виновный? Один, два, три? Нет, больше. Завком виновный, партком виновный.

Агитпроп, сидевший ближе к трибуне, оторвался от стола президиума и вытянул шею к Леонардо, шепча. Леонардо нагнулся к агитпропу, потом выпрямился и снова стал кричать в зал:

— Демагозия? — Он сделал ударение на «зи». — Партком говорит: Леонардо демагозия. Нет. Демагозия — это когда в газете фото: завком сидит вот так.

Леонардо подпер щеку рукой и, наполнив взгляд задумчивостью, устремил его вдаль. Потом преувеличенно изогнул шею и сделал вид, что подписывает бумагу:

— Или когда фото: партком сидит так, руки у него лежат красиво — вот так. Какой красивый, какой хороший завком, партком! Надо его на фото. А последний месяц — в старых цехах — плохая работа, программа — капут, материал — капут. Брак и брак, и

брак! Надо брак — паф! — на фото. Но — место занято, на фото — завком, партком. Вот это демагозия! Завком, партком не шел в массу, не знал массу, сидел на конторе, писал бумажки. «У-у! Работы много: совещания, заседания». На бумажке — привет московским товарищам и еще раз привет. И еще раз!

Председатель предостерегающе поднял руку:

— Товарищ Леонардо, призываю...

— Москве интересен такой привет? Нет, не интересен такой привет. Интересно, когда завод хорошо работал. Когда завод выполнил программу. Есть от нас такой привет? Нет! Пятилетка, план, вперед, линия партии — хорошие слова, хороший лозунг. Но завком, партком, контора эти слова на шарманку. Как Травиата: та-ра-ри-ра-ра-ра, ри-ра-ра. И вчера и сегодня, и завтра, и послезавтра!

— Товарищ Леонардо!

— Партии не надо поклоны! Не надо шарманку. Не надо на словах: «Пятилетка, пятилетка, план, план, план, вперед!» Не надо: привет, привет. Партии надо... Постой, председатель. Ты думал — неверно? А я думал: верно. И так думал весь русский рабочий. Так думал мой товарищ в тюрьма Турина, Неаполя. Так думал рабочий Берлина, Гамбурга. Так думал товарищ Китая.

— Ближе к делу, — нервно перебил секретарь парткома.

— О! «Ближе к делу». И я хотел сказать: ближе к делу. Довольно бумажек, довольно на словах: генераль линия партии, генераль линия партии! Линия дана. Ближе к делу. Надо конкрет — тактика. Тактика на завод. Каждый день, каждая мелочь, каждая деталь от первой до последней...

Председатель встал.

— Товарищ Леонардо плохо знает русский язык. Он не понял, что речь сейчас идет об избитии рабочего-татарина.

— Нет, я понял. Я понял! Когда прорыв на заводе, партком, завком говорит: лодырь, прогульщик, борьба, линия партии. И писал это на бумажке. Когда избili нашего товарища, татарина рабочего, хорошего рабочего, партком говорил: классовый враг. Правильно! Но подожди еще писать на бумажке резолюцию. Надо сперва сказать рабочим: А где был завком, партком? Вы были в массе? Вы были в бараке? Вы были в цех? Нет, вы были на конторе. И администрация на конторе. И инженеры на конторе.

Он наткнулся взглядом на фигуру Корнакова. Рядом с Корнаковым сидел Талызин.

— Я не говорил про новую стройку, я говорил про старый цех. Там инженер тоже на конторе. Вся борьба с прорывом на бумажке. Вся борьба с классовый враг. с шовинизм—на бумажке. Это есть чиновник. Чиновнику неинтересно завод. Ему интересно, чтоб ему было спокойно. Я говорил партком: «Этот коммунист плохой, он ироник к коммунизму, ему тьфу на завод, он... — как это... — мазал, примазал себя к партии». Партком говорил: «А ну, что там?» Я говорил парткому: «Станок стоит на двор под снегом, двадцать сантиметров снегу». Партком говорил: «А ну, это вопрос техник, это меня не касался». Вопрос техник? Это есть вопрос политик.

— Довольно, Леонардо. Твое время истекло, — сказал председатель.

Леонардо лукаво улыбнулся:

— Я плохо знаю русский язык. Надо еще две минуты.

Зал зашумел:

— Вали, Леонардо!

— Говори хоть час!

— Дай ему сказать до конца.

Леонардо поднял руку.

— И вот я хотел сказать: надо любить каждый

станок. Надо знать каждый рабочий. Надо знать, почему станок под снегом, почему брак. Надо знать, почему рабочий плохо работал. Почему прогул. Почему, откуда шовинизм. На бумажке все хорошо: завком красивый, партком красивый, хороший. И создавал ситуаси: классовый враг на рабочем бараке, классовый враг в партии. Враг смеялся: татарский социализм! Враг избил рабочего-татарина. О! партком, завком писал плакатик: долой классовый враг! Партком, завком — совещание, резолюсию. Это опять Риголетто на шарманке: та-ри-ра, ри-ра-ра. Это бурократ себя страховал: «Завтра мне опять будет спокойно». Можно опять не думать, почему брак, почему плохой технический процесс, почему программа капут, почему есть слово: «татарский морда», «жид».

Завком говорил: «Ты — путаник, Леонардо. Ты путал вопрос техник с вопрос политик». Нет. «Владей техник» — вопрос политик. «Долой шовинизм» — вопрос политик. Я не путал.

Как мог быть факт: завод дал пятьдесят процент плана? Как мог быть факт: нашего товарища, рабочего избил? Это есть вопрос политик.

Надо другая работа.

Надо коммунистичну тактику на территорию завода. На каждый мелочь. Если каждый завод, каждый колхоз провел у себя коммунистичну тактику, это есть борьба за генераль линию партии на территории всей страны!

— Начал хорошо, а кончил той же шарманкой, — заметил вполголоса Емельянов.

Токарь Ковылин повернулся к приятелю:

— Нет, не шарманка. Это не шарманка, — он меня за сердце схватил.

Он поглядел на Емельянова с неожиданной злобой.

— Тю, полоумный! — отвернулся Емельянов.

Ковылин в разговоре с Емельяновым не раз пору-

гивал порядки. У Емельянова была своя теория бидона с молоком: наверх поднимаются сливки, лучшее, что есть в бидоне; внизу — все, что пожиже, похуже. И у людей так же: наверх должен всплывать организатор, капиталист. А у кого мозги не варят — пусть внизу сидит. В этом — справедливость, природа вещей.

Ковылин, все еще глядя на Емельянова, как будто заново его оценивая, стал пробираться к трибуне. Он закричал:

— Председатель, мне слово! Ковылину! Я объясню!

Не дожидаясь согласия президиума, он продолжал кричать — уже на лесенке к эстраде:

— Ох, Леонардо, ты меня встревожил! Рабочий я человек. Как послушаю настоящего коммуниста, думка у меня является: должен я больше бороться за коммунизм. И вроде как могу бороться. А обратите внимание на настоящее положение. В настоящем положении я — пассив, и того хуже. Верно. Я хороший производственник. Но мало этого. Я хороший производственник, чтоб больше заработать. Это как завком: он хорошую резолюцию пишет, чтоб себе, как Леонардо сказал, спокойствие заработать. Чтоб портфель не отобрали. И вот, друзья: я старик почти что. И много таких нас на заводе. Как бы так нам сделаться, чтоб подмогнуть партии? Много еще сору у нас в котелках-то позастряло. Один, примерно, про бидон, другой еще про что-нибудь. Про бидон я в следующий раз уточню. И сколько таких, что до сих пор не признали трудящегося татарина или там еврея за такого ж товарища, как свой — рязанский, калужский, московский!.. Чего еще приходит мне в голову: сидят вот тут, в зале, хорошие такие люди и думают: из-за пары сапог человека чуть не убили; жадность, мол; из-за десятки отца родного не помилуют... Неправильно это! Сапоги — зацепочка в этом деле, не боле того.

Поругали мы завком, партком. Надо и самих себя. Вон хороший человек сидит, старый производственник, заслуженный пролетарий. Я про тебя, Новиков, говорю. Не шутил ли ты в цеху: «Князь, где твой шурум-бурум?» Погоди, Новиков, я тоже виноват. Я смеялся, когда ты шутейно говорил такую плешь. Вот мы — хорошие люди — не подумали: нет ли частички нашей вины в том, что пострадал товарищ Абрахманов? Подумай, Новиков. Подумай и другие кто: вот ты, Крогульский, ты, Панов... или вон хотя бы и комсомолец Петров.

— Ничего подобного! — крикнул, побагровев, Петров.

— Нет, все подобрано. А если не подобрано, подбери, товарищ Петров, чтоб больше не было таких слов, как я слышал от тебя третьего дня в столовой.

— Кончай, Ковылин, — сказал председатель.

— Надо нам так организовать, чтоб никакой чуждый элемент...

— Об этом уже говорили!

— Ну, тогда — кончил.

Когда голосовали резолюцию, в дальнем ряду встал Кашицын и сказал:

— Вношу пункт: завком и партком не обращали внимания.

— Правильно!

— Голосуй поправку.

Председатель спросил, волнуясь:

— Что голосовать-то? «Не обращали внимания» — как это понять, во-первых?

— Партийные и профессиональные организации не проявили должной зоркости по отношению к классовому врагу, — предложил Фирсов.

Секретарь парткома встретился с ним взглядом и отвернулся.

Зал зашевелился. Многие стали пробираться к выходу.

— Товарищи, соблюдайте порядок! Голосую.

16. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. ПЕЙЗАЖ БЕССЕМЕРА

Жизнь.

Пестрота.

Домишки, залатанные кусками ржавого железа, вросшие окнами в землю, покрыты предсмертной сыростью: они обречены на снос.

Вчерашний день протекал здесь по-обычному. Хмурый мужчина в калошах на босу ногу кормил хлебом козу; петух торжественно оглядывал прохожих сверкающим взором; мусорная куча дышала отбросами, оскалившись разбитой полулитровкой. И небо, совсем простенькое, небо провинциального пригорода, низко склонило над этой неторопливой жизнью тугие паруса облаков.

Сегодня завод, ширясь, зубастым сосновым забором отхватил у домишек завалившийся набок сарай. Мужчина — козовладелец — по одной доске перетаскивает сарай через забор и восстанавливает его поодаль — возле мусорной кучи — в прежней кривобокой неприкосновенности.

Вечером он несколько раз обходит забор, мочится и плюет на него многократно: «Будь, анафема, трижды проклят!»

За сосновым забором растет — третья по счету — заводская труба.

Фабричные трубы строятся из лекального огнеупорного кирпича. На кирпиче темнеют дырочки. Это для теплопроводности и большей легкости. Когда лекальный кирпич лежит грудой, он, темнея пятнами отверстий, похож на домино гигантов.

Третья по счету труба растет медленно.

Но четыре дня я не смотрел на нее и вчера увидел вместо приземистого круглого фундамента почти законченный ростом стремительный побег в небо.

Скоро вершину трубы окольцуют кирпичным выпуклым ободком.

Женщины-строительницы в брезентовых звонких куртках спешат на завод — ко второй смене.

Навстречу им цыганка пышным подолом заметает дорогу.

— Погадаю, красавицы.

Полумесяц из дутого золота блестит у ее волос, жестких, как конская грива.

Цыгане недавно начали переговоры с поселковым советом о разрешении разбить весной табор возле реки.

В Египте они вели ту же жизнь, только ландшафт в их кочевьях был иным.

Старая женщина подходит ко мне на бульваре:

— Бога признаешь? Не признаешь бога? У меня дочка бога не признавала, а теперь в четырех стенах сидит, в душевном отделении, это от бога или как?

— Должно быть, от родителей или от дедов. Чем-нибудь больны были.

— Значит, влияет? А я не пила, когда ее носила.

Женщина наклоняется: отвратительная зеленая бахрома — остатки зубов — видна из-за синих губ, запах гнили и спирта обдает меня.

— Нет, милый, не пила я тогда.

В этом году, двадцать четвертого апреля физкультурники прошли строем по городу и остановились у стадиона.

Оркестр замолк, и аэропланный рокот повис в небе.

Самолет снизился, и тогда шум его пропеллера по силе своей стал похож на распластанный во времени взрыв.

Какой-то заношенный человек, изъеденный зло-
стью, крикнул с тротуара женской колонне:

— Все сифилисом болеть будете!

К хулигану подошли два комсомольца.

Оркестр вздохнул, не спеша разрывая воздух.

Женская колонна, колыхаясь, шагнула вперед.

Жизнь.

Пестрота.

Есть любители старины, старинных вещей.

Есть любители пестроты — позолоченных солнцем
Туркмени цветных лохмотьев, разноцветных заплат
российской чересполосицы, сочетания золотых купо-
лов и соломенных шапок на крестьянских избах.

Как сегодня я дам отпор вам, любителям неторопли-
вого пестрого быта, провидевшим в гармонии социа-
лизма губительную для себя скуку?

Вас пленяло чирикание Чириковых о чувствах и
намерениях уездного мещанства.

Вам скучно читать о том, как возникают новые
заводы, чудеса новейшей техники, замечательные про-
изведения человеческой мысли, воли и мускулов.

Может быть, подобно вросшим в землю домишкам,
уделевшим гнилыми опенками у стволов заводских
труб, вы уже покрыты предсмертной серостью.

Отступление от темы.

Вероятно, это не принято.

Но сегодня у меня был разговор с человеком, жа-
люющим неторопливое прошлое. Его жалость бес-
смысленна, — он потерял отца во время погрома.

Уездная пестрота и противоречия в человеческом
мышлении.

Жизнь изменила свою походку. Нужно знать вещи,
ускорившие ее бег.

Я хочу сегодня говорить о Бессемере. Я хочу рас-
сказать о бессемеровском цехе, где я снова увидел
Галима Абрахманова.

Со стороны печь Бессемера похожа на гигантскую бронированную цистерну, покрытую огромными пуговицами заклепок.

Происходит дуплекс-процесс: вагранка плюс Бессемер.

Температура чугуна, поступившего из вагранки в Бессемер, подымается до тысячи семисот пятидесяти градусов. И при этой температуре рождается сталь, годная для фасонного литья деталей.

В мартенах такого металла не получить, — столь высокая температура действует на кирпичную одежду мартена разрушительно. Мартеновская сталь — это сталь сравнительно низкой температуры. Для фасонного же литья — для того, чтобы углы, очертания деталей были четкими, — нужна высокая температура.

Температура Бессемера — тысяча семьсот пятьдесят градусов — достигается путем подачи воздуха машиной Егеря — воздушной турбиной, лопасти которой описывают две тысячи девятьсот оборотов в минуту.

Две тысячи девятьсот оборотов — это скованный металлом ураган.

В условиях Московской области тонна стали, полученная из Бессемера, обходится в триста пятьдесят рублей, а тонна мартеновской стали — семьсот-восемьсот рублей.

Вот почему среди московских инженеров много приверженцев печей Бессемера — бессемерианцев¹.

Бессемеры работают парой. Пока один работает, другой монтируется. Три-четыре дня идет плавка в одном Бессемере, — в это время его сосед меняет верхнюю рубашку. Рубашкой называется кладка из

¹ В Донбассе, где руды фосфористее, их меньше, там нужны мартены, для Бессемера хороши только руды с малым количеством фосфора.

У гидростанций нужны электропечи, — дешевая электроэнергия выгоднее, чем эксплуатация турбины Егеря.

огнеупорного кирпича, которым печь выложена внутри. Таких кладок, сложенных кольцеобразно, три. Скорее изнашивается, конечно, верхняя рубашка, находящаяся ближе к тысяче семисот пятидесяти градусам.

Таким образом, бессемеры чередуются, — беспереывное производство.

Эти сведения нужны, так как читатель может встретиться с Бессемером на какой-нибудь из дальнейших страниц книги.

С площадки Бессемера видно ваграночное отделение. Вынимают шлак из вагранки — малиновая шлея виснет, окруженная лопающимися звездами.

Час дня.

Снизу из литейного зала доносится голос главного инженера.

Сегодня он сидит в сталеварской будке; он заменяет сталевара Борю, так как еще не закончено освоение Бессемера.

Он высовывается из будки, взволнованный, и кричит что-то про шлак.

По лестнице на площадку Бессемера вбегает Боря, сталевар в сером комбинезоне, и передает распоряжение главинжа.

Это значит, что процесс не освоен.

Через две недели здесь будут разговаривать только сигналами и свистками.

Это происходит так.

Сталевар в будке нажимает кнопку, — в машинном отделении раздается звонок, вспыхивает на стекле красная надпись: «Х о д». Сигнал — зеленая надпись — «Т и х о». Сигнал — матово-молочная надпись — «С т о п».

Свисток — раз: очистить шлак. Два свистка: дать присадку ферросилиция. Милицейски тревожный, заливистый: перекрыть задвижки в вагранке.

В час десять минут у вагранки начинают лить жидкий чугун в ковш, над ковшом встает кудрявая зелень газов. Лопаясь, вылетают маленькие шрапнели. Железными лопатами с чугуна снимают горячий уголь, лопаты мгновенно накаляются, к ним прилипает красный чугун — похоже, что они покрыты окровавленным снегом.

Сухопарый Локтев, новый завцехом, сосредоточенно танцует перед ковшом, прикрывая глаза ладонью. Он танцует, потому что густой веер искр отгоняет его, — он оттанцовывает к краю площадки, но и оттуда продолжает завороченно вглядываться в жаркую поверхность чугуна.

На вопросы он отвечает невразумительно и в подходящий момент вновь подплясывает к ковшу поближе.

Канат наматывается на катушку, помещенную в дальнем углу площадки, и тянет ковш — по рельсам — к Бессемеру.

Бессемер может вращаться вниз, вверх. Сейчас он поднят горловиной кверху. Горловина похожа на розовый жадный рот. Или на кратер небольшого вулкана.

Ковш наклоняет свой клюв, раскаленный чугун льется через горловину в конвертор Бессемера.

Ковш откатывают.

Над Бессемером подымается видимое глазу красноватое дыхание, вырывается негодующая стая звезд, растет дрожащая, туго натянутая канитель — раскаленные белые нити. Они скоро сливаются в сплошную массу, стремительную, как выстрел.

Главинж у будки сталевара дает сигнал — Бессемер кланяется, — клонится горловиной книзу, потом снова выпрямляется.

Выторает углерод.

Воздух на площадке наполняется углекислотой и становится жестким, как наждак. Он дерет легкие.

Теперь можно спуститься по железной лестнице вниз и — мимо огромного рубинового ожерелья из раскаленных ковшей — пройти в литейный зал.

(В отличие от чугуна жидкую сталь принимают в горячий, накаленный над горном ковш.)

Пол, рельсы, железо в литейном зале политы водой.

Бессемер снова склоняет вниз свой розовый рот. Над горловиной поднимаются дым и успокоенный, усталый огонь.

В литейном зале рядами легли опоки: продолговатые для буферов, квадратные для хомутов, подпятников.

Главинж высовывается из сталеварской будки. Почти вываливаясь из окошка и прозя щетиной рыжих усов, он кричит кому-то:

— Отойди! Отойди ж!

Кому он кричит — непонятно.

Сердитая его голова исчезает в будке.

Бессемер выпрямляется, над ним растет застывший во времени белый выстрел. Это значит, что главинж нажал в будке вторую кнопку и машинист дал воздух.

Сейчас в машинном отделении вздрагивает красная надпись: «Ход». Лопастя турбины Егера делают две тысячи девятьсот оборотов в минуту.

Когда белый выстрел слабеет и никнет, сияя и дробясь длинными нитями, главинж вновь появляется в окошке.

Его лицо наливается кровью, и он кричит что-то о дровах.

Двое рабочих готовят для жидкой стали раскаленный ковш. Они поворачивают его железными стержнями. Один из них, забыв, что конец стержня накалился, касается им щеки соседа. Тот повертывается

к нему исковерканным злобой и болью лицом; на щеке всплывает широкий рубец; рот раскрыт для неистовой брани.

Но главинж кричит о дровах. Обожженный рабочий — ближе всех к будке сталевара; он первый слышит приказ. Схватывая по дороге мокрый песок и прижимая его к щеке, он бежит по лесенке на площадку Бессемера, где от рева огня не слышно криков главинжа.

Процесс не освоен, механических сигналов недостаточно.

На площадке начинают с размаху закидывать дрова в горловину. Бессемер отплевывается раскаленными звездами.

Очевидно, машинист — по сигналу — опять дал полный ход. Из Бессемера снова вырастает сокрушительный огонь.

Искр почти уже нет. Они видны только над копаком вытяжной трубы — там, где железо прострелено температурой.

Белый огонь уже нестерпим для глаза. У кого нет консервов, тому приходится отворачиваться лицом к литейному залу — туда, где потерянно смотрят не нужные сейчас электрические лампы, покоренные пламенем Бессемера.

И зал кажется погруженным в полумрак, хотя дуговые лампы горят с прежним напряжением. В полумраке, согнувшись у опок, заливщики ждут первую сталь.

И вот еще раз кланяется Бессемер, над его пастью колышется голубой флаг раскаленных газов. Рабочий сует в эту пасть загнутый на конце, подобный длинному ключу стержень. Похоже, что он отомкнул дверь горячему металлу.

В час пятьдесят заливщики принимают первую сталь.

Я подхожу ближе и узнаю среди них Галима Абрахманова. В сетке знакомых морщин я вижу карие глаза. Блистательная усмешка раздвигает заросли давно не бритых щек. Мне кажется, что на правой его щеке виден неровный шрам.

Абрахманов наклоняется к ковшу.

Так как внутрицеховой транспорт еще не готов, ковш несут вручную к опокам.

Движенья заливищиков осторожны. Это первая сталь.

Над ковшом встает зарево, крася лица и вещи жарким румянцем.

В ковше несут

независимость страны.

17. ВСТРЕЧИ

Звонок.

Каневский, волнуясь, подошел к телефону: «Елена?»

Нет, это был Бошко. Каневский хотел повесить трубку. Но голос профессора был убедителен.

— Я вас очень, очень прошу. Будут только свои.

«Своими» оказались: Веринаго, Ротберг и неизвестный Каневскому желтолицый человек с неподвижным взглядом.

Аполлон Антонович встретил Каневского с преувеличенным радушием. Это не понравилось инженеру: он знал профессора не первый год. Радушные сигнализировало о каких-то вновь оформившихся планах Бошко на его счет.

Ротберг внимательно посмотрел на Каневского:

— Ну как ваша коридорная философия?

— Да уймьтесь вы, Александр Альфредович, — сказал Бошко, — не кусайте моих гостей.

Каневский сразу весь внутренне ошетинился. Но, улыбаясь, ответил:

— В прежнем состоянии.

Ротберг подошел к нему ближе.

— Слушайте, у вас на заводе аресты? — спросил он вполголоса.

— Я слышал только об аресте покушавшихся на убийство рабочего Абрахманова.

— А о нормировщике Милованове не слышали? Интереснейший факт! Он, оказывается, был связан — через жену инженера-коммуниста — со средой партийцев. Любопытно.

— Вас, собственно, что же радует?

— Я не сказал, что меня радует это. Я сказал — любопытно.

— Позвольте вас прервать. — Бошко просительно поднял ладони. — Георгий Иосифович, вот мы тут — до вашего приезда — обменивались мнениями... о сегодняшнем дне. И о том, что будет завтра.

Но Каневский уже с трудом справлялся с приступом неприязни.

Ладони профессор любил поднимать, потому что гордился красотой своих рук. Из столовой послышался звон тарелок, кто-то взял аккорд на рояле, и надоевший до ненависти женский голос вполголоса застонал романс.

Ротберг же был нестерпим.

— Что же будет завтра? — кусая губы, спросил Каневский.

— Это зависит от диагноза сегодняшнему положению вещей. О нем и беседуем.

— Вот как? Завтрашний день зависит от вашего диагноза?

Бошко улыбнулся своей тонкой улыбкой:

— Вы что-то не в духе!

Ротберг встал, внезапно наливаясь волнением:

— Возможно, и будет зависеть! До известной степени.

Абазур кабинетной лампы положил зеленые тени на его втянутые щеки.

— Итак, я считаю, что самое мудрое сейчас — ждать, — сказал Бошко. — Пусть строят. Воз империи, который с таким трудом вез по песку Николай второй, гладко покатится по асфальту.

Профессор никогда не говорил «монархия» в применении к России. Империя была изысканней, историчней. От этого слова веяло величием побед.

— Речь пока не об империи, — нервно проговорил Ротберг. — Разрешите — ваше мнение? — обратился он к желтолицему, который молча, мешком полулежал на диване.

— Я пасс. Не верю.

— Позиция удобная. Во что же вы не верите?

— А ни во что. В основательность ваших мыслей не верю.

Ротберга передернуло.

— Очень удобная позиция. Теперь вы, Георгий Иосифович?

Каневский помолчал.

Отворачиваясь от сверлящего взгляда Ротберга, он обратился к Бошко:

— Я, собственно, не знаю, о чем вы... Но мне не хотелось бы принимать участия в этом разговоре. Позвольте мне пройти к Марье Петровне.

— Вы хотите пройти к Марье Петровне? Вы хотите уклониться? — свистящим голосом спросил Ротберг.

— Виноват, Александр Альфредович, — начал Бошко, подымая ладони.

— Позвольте! Позвольте мне выяснить позицию инженера Каневского.

— Слушайте-ка вы, инженер Ротберг, — рассердился Каневский, — я всегда был уверен, что все это у вас только разговоры. Безвредные обывательские

разговоры за стаканом чая, за рюмкой вина. Правда, ваша мимика при этом слишком трагична. Но мимика и жестикация — дело только темперамента.

— По-моему, тоже; без ужина — не разговор, — лениво протянул желтолицый, видимо, наслаждаясь ссорой.

— У вас что ж, инженер Каневский, смена век? В груди медленно растет пафос строительства? Энтузиазм ударника? Уж мы-то знаем, что кроется за этой бутафорией! Не донесете ли вы на нас, куда следует?

Вот! Самый болезненный удар. Каневский знал о себе, что он не мог бы донести даже на врага. Даже если знал бы, что сделать это обязан.

У Ротберга подергивалась щека.

— О чем же доносить? — грубо спросил Каневский. — О болтовне? Русский интеллигент всегда любил поговорить о вопросах. О вопросах политических, этических, поэтических и каких угодно.

— Вы тоже русский интеллигент, — вдруг обиделся молчаливый Веринаго.

— Да. Я тоже русский интеллигент.

— А если это не только разговоры?.. — спросил Ротберг, сцепив кисти рук и хрустя суставами. — Что же вы молчите?

— Я не хочу вам больше отвечать: вы спрашиваете слишком настойчиво. Вы не следователь, чтобы так упорно добиваться моих ответов, а я не обвиняемый.

— Но вы будете им, инженер Каневский! Вы будете обвиняемым, когда история сделает долгожданный нами поворот.

— Господа, ради бога! — воскликнул Бошко. — Как хозяин дома прошу вас... Кстати, Георгий Иосифович, вы сегодня познакомитесь с интереснейшим иностранцем, французом. Я его знал еще в двенадцатом году, в Париже...

— Позвольте мне пройти к Марье Петровне.

Уехать домой, к сожалению, сейчас было невозможно, чтобы не дать Ротбергу повод подумать, что его угрозы возымели какое бы то ни было действие.

Однако действие было налицо.

Каневский совсем не слушал Марью Петровну, встретившую его рассказом о какой-то баронессе.

Он поцеловал поднесенную к его губам окольцованную браслетом руку и отвечал рассеянно.

Надо будет сегодня еще раз подчеркнуть этому Ротбергу, насколько пустой является болтовня подобных ему лиц.

Донести! Вот Ротберг-то уж донесет, если... «история сделает поворот».

— Да вы меня совсем не слушаете, Георгий Иосифович! Баронесса мне вчера и говорит...

Здесь еще сохранился культ титулов. Марья Петровна в старое время была гувернанткой. Она благоговела перед дворянством, как самоучка перед фолиантами Академии наук. Аполлон же Антонович ждал возвращения империи. Отсюда и проистекала музейная законсервированность быта.

Каневский с нетерпением стал ждать минуты, когда можно будет незаметно уехать.

Но — началось обычное: ужин, музыка.

Бошко предусмотрительно рассадил Ротберга и Каневского в разные концы стола.

С опозданием прибыл француз, Лоран. Он был гвоздем вечера, но надежд не оправдал: говорил мало, хотя и владел русским языком. Кланялся, слушал, вежливо улыбался.

После ужина играл пианист.

Читал свои стихи юноша в бархатной куртке. Он декламировал неестественным актерским голосом; Каневскому было неловко слушать его.

Во время паузы в комнате повис громкий вопрос Ротберга:

— На чем же все-таки основаны ваши надежды на него?

Все оглянулись. Бошко с извиняющимся видом улыбнулся и ответил Ротбергу — шопотом.

Потом долго пела пожилая певица. Худые ее ключицы трудно ходили в пустынном декольте.

Лоран был европеец. Он учтиво дослушал пение, вдумчиво кивая головой. Лучась восторженностью, он первый вручил певице свои преувеличенные похвалы. Он даже не скрывал от присутствующих условности своего восхищения.

Вручив похвалы, раскланиваясь и сияя, он умело исчез.

— На чем же все-таки основаны ваши надежды? — спросил с досадой Ротберг.

Этот — в сущности мало известный человек — говорил со всеми странно требовательным тоном.

«Тренируется для роли вождя», — подумал Каневский.

Предлога уколоть Ротберга не было.

Каневский стал прощаться.

Этот его визит к Бошко оказался таким же ненужным, как и предыдущие.

В трамвае он почувствовал у себя на затылке настойчивое дыхание. Какой-то военный сбоку пытался заглянуть ему в лицо.

Каневский с досадой обернулся. Позади него стоял Ян Яскевич в военной форме.

Яскевича в последний раз он видел в ноябре семнадцатого года.

— Я все заглядываю сбоку, а он все отворачивается. Каневский, думаю, или не Каневский?

Яскевич почти не изменился. Только массивней — не на много — стало лицо. И глаза раньше были жи-

вее. Теперь взгляд его показался Каневскому излишне твердым, малоподвижным.

«Привык приказывать», — подумал Каневский и спросил:

— А ты с тех пор все в армии?

— С каких пор? Ах да! Ведь с октября мы так и не видались. Да, все в армии.

В Технологическом, студентами, они были в свое время близки.

А теперь встреча принесла только удивление. Возможно, был виноват трамвай. С боков тесно нажимали люди и глядели с угрюмым любопытством.

— Мало ты изменился. Вот только — ромбы. — Каневский посмотрел на воротник Яскевича. — А помнишь наш последний разговор?

Яскевич подумал.

— Нет, не помню.

Он вдруг оживился.

— Знаешь что? Если тебе недалеко, сойдем, пройдемся пешком. Трамвай — не подходящее место для вечера воспоминаний, — засмеялся он, ступая на тротуар. — Так какой же разговор?

Каневский произнес, запинаясь:

— Ты мне сказал: «Не попади в болото».

— Ну вот ты же не попал в него. Инженер. Советский инженер, строишь...

— Строю, да.

Каневский, не удержавшись, стал рассказывать о себе. В середине рассказа он уже рассердился на себя — за откровенность. Рассердившись, не скрыл ничего, даже про Мефистофеля. («Так тебе и надо», — подумал он со злорадством. С привычной издевкой скользнула мысль — Мефистофель: «Не скрыл ничего, но прикрасил; интересней получилось, чем на самом деле».)

Яскевич молчал, глядя в сторону.

— Реагируй, — сказал Каневский, сердито усме- хаясь.

— Да вот я и думаю: как реагировать? Бросил бы ты таскать на себе этот хомут сомнений!

— Легко сказать! Не в сомнениях дело. Человек должен сомневаться, если он думает. Но у меня это что-то болезненное.

— Тогда, может быть... — начал Яскевич и за- молчал.

— Что, к психиатру хотел направить?

— Ну, какой там психиатр! Врачи идеологию не выправляют.

— Значит, идеологическое искривление? — Канев- ский сухо засмеялся. — Итак, диагноз поставлен, яр- лык наклеен. Теперь метод лечения: по три страницы Маркса ежедневно, на ночь?

— Зачем же ругаться? — миролюбиво проговорил Яскевич, пытаясь при свете уличного фонаря разгля- деть циферблат своих часов.

— Ах, твое время истекло? — отметил Каневский его движение.

— Нет, не истекло. С чего ты кирпичишься?

— Я за тринадцать лет впервые решился погово- рить без утайки о себе. И вот... ты смотришь на ча- сы... чуть ли не зеваешь.

— Да неверно же это, чудак! Я не очень экспан- сивный, ты ведь знал меня раньше. В тебе ветхий Адам, что ли, борется. И какой там врач, какой там диагноз!.. Ерунда.

— Ветхий Адам? То есть обыватель? Тот же яр- лык под другим названием. Как вы неизобрета- тельны!

— Кто это — мы? Большевики? Эх, Георгий! Для меня легче было бы посочувствовать тебе. Утешить. Но это значило бы — заплатить ложью за откровен- ность.

— Я не нуждаюсь ни в твоём сочувствии, ни в твоём осуждении.

Яскевич остановился.

— Ну, вот как сложилась наша встреча. А я думал, вечер воспоминаний будет.

— Воспоминания! Ты с высоты своих генеральских чинов разучился видеть в человеке живое существо. Зачем тебе воспоминания?

— Ксения такая была — курсистка... Наташа Шумова... Она, кажется, в консерватории училась.

— Не помню. Уклоняешься от разговора.

— Нет, не уклоняюсь. Но почему разговор только о тебе? Вот ты обо мне ни одного вопроса не задал. А ведь я пережил гражданскую войну, много у меня было всякой всячины... Или — Наташа Шумова. Почему о ней не вспомнить? Слушай, давай еще раз встретимся. Я тебе позвоню. А то время действительно «истекает».

Попрощавшись, он круто повернулся и ушел своей, как показалось Каневскому, подчеркнута военной походкой.

Разговор этот вызвал в Каневском странную растерянность. Придя домой, он долго не мог успокоиться. Вынув — назло Яскевичу — свою тетрадь («да, только о себе»), он записал:

«Я всегда ненавидел удовлетворенных, успокоившихся людей. Это — враги человечества. Неудовлетворенный человек — двигатель прогресса».

Слова эти показались ему необычайно тусклыми. «Двигатель прогресса». Пошлость!

«Не попади в болото», — сказал ему Яскевич тринадцать лет назад.

Каневскому вспомнился ноябрьский день — начала ноября семнадцатого года. Он шел в этот день по улице с Бессоновым, офицером. Это было в Петрограде. Улица была окраинная, не питерская совсем,—

дома деревянные, мостовая в булыжниках. Каневский вспомнил даже ее название: Симбирская — около Финляндского вокзала. На мокрых булыжниках стоял красногвардеец — сутулый рабочий с винтовкой через плечо. На нем было черное пальто с барашковым воротником. И винтовка на этом пальто висела неуверенно, красногвардеец придерживал ее рукой. Бессонов, офицер, получивший георгия за храбрость, схватил Каневского за руку: «Ну, уйдем же, вон туда, в переулочек!» В переулочке он остановился и, забыв про Каневского, стал обдумывать, как бы ему попасть домой — в обход, чтобы не встретиться с человеком в черном пальто. Потом спохватился, овладел собой и провел Каневского — закоулками — к себе на квартиру. Дома он успокоился, говорил о далеком, о Бразилии. О близком, сегодняшнем говорить ему было тяжело.

Бессонов ни в чем не был замешан. Мотивировка его страха лежала вне его личной судьбы. Она была в судьбе его класса.

И в тот же день вечером Каневский виделся со Шрайдером, большевиком. Шрайдер, блестя очками, говорил об искусстве восстания. Он считал октябрьский план захвата телефонных станций, мостов, телеграфа — план изоляции врага — гениальным. Этот план казался Шрайдеру наиболее увлекательным из всего, что до сих пор дала скуповатая на эффекты история.

Каневский слушал его равнодушно. Он был равнодушен и к Бессонову.

Сегодня, через тринадцать лет, он встретился — в один и тот же день — с мечтавшим об империи Бошко и с коммунистом Яскевичем. И тот и другой вызвали в нем одинаковое чувство неприязни.

«Крут замкнут», — записал он у себя в тетради.

«И вот — опять ночь и одиночество.

Идея фатализма еще ждет своего последнего про- рока.

Мефистофелю тоже бывает грустно. У него унылые уши. Я вижу его сейчас совсем ясно.

В моей комнате слишком тихо.

У Мефистофеля серое лицо, а не зеленое, как мне казалось раньше.

— Отчего у тебя такой нездоровый цвет кожи?

Он ответил что-то несвязно, я не расслышал. Засмеялся неоправданно, струйка слюны брызнула на толстые губы.

Я едва ли порву присужденную мне цепь».

18. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ ПРОФЕССОРА

— Будущий министр, — вполголоса сказал Лиде Стаханский, раскланявшись на лестнице с седым, похожим на ксендза человеком.

Лида взглянула невнимательно: седой жил этажом ниже. Министры ее не интересовали.

Седой был — Аполлон Антонович Бошко, профессор.

Конечно, в столовой кипел самовар. Константин Константинович, тесть профессора Бошко, сушил на самоваре свои носовые платки. Платки были желтые, как его борода. Заслышав шаги Аполлона Антоновича, он сдернул их с самоварных ручек. Но запоздал: знакомая брезгливая гримаса выползла на бритые губы профессора.

Профессор прошел к себе в кабинет. Раздражение мешало думать.

Культурный человек — грязные платки на самоваре сушит. Вообще — родные. Муж сестры — невыносимый субъект. Аполлон Антонович не знал его совсем, брезгуя близким с ним знакомством. Зять был

бухгалтер. Им не о чем было говорить друг с другом. Втайне Аполлон Антонович бухгалтера ненавидел: за то, что у того ноги пахли потом — отвратительно. И как сестра могла? Сестра профессора была гибкая нервная брюнетка. Выйдя замуж стареющей девой, она раз навсегда простила мужу все его недостатки.

Недавно бухгалтер запил. Это было похоже на болезнь. Ночью он прислушивался: стук копыт; телега отъехала; он кивал и выпивал рюмку. Автомобиль квакал и шипел шинами под окном,—бухгалтер вставал бледный. Шинный шип умирал, автомобиль квакал вдали,—бухгалтер, печально раскланиваясь, выпивал рюмку. Утром шел на службу трезвый — от страха.

Сестра пришла к Аполлону Антоновичу в слезах: Павлик растратил четыре тысячи и теперь ждет ареста с ночи на ночь. Профессор закрыл глаза — от ненависти к бухгалтеру Павлику, — он через стену слышал, как пахнут Павликовы ноги. Деньги пришлось достать, Павлик перестал пить по ночам. Он начал даже заботиться о своем здоровье: делал гимнастику, обтирался. Но ноги его сохранили присутствием им запах.

Аполлон же Антонович был аристократичен. Он учил: не так важна четкость мысли, как изящество формы. Изящное — фермент, необходимый, чтобы мысль была усвоена слушателями.

Семейное окружение было ужасно. Жена, Марья Петровна, пыталась скрасить быт. Но ее стремленья создать салон были неуклюжи. Вместо ставки на аристократию духа она цеплялась за каких-то баронов, корпящих в трестах счетоводами.

В кабинете было тихо.

Письменный прибор из полупрозрачного камня лежал на зеленом сукне. Чернильницы возвышались, как модели надгробий. В книжном шкафу корешки книг мерцали золотым тиснением.

Обстановка была торжественной. Это нужно было для работы.

Аполлон Антонович провел рукой по лбу. Требовалось время, чтобы смахнуть с сознания неурядицы быта.

Звонок в передней.

Шаги.

Стук в дверь. Веринаго. Аполлон Антонович сегодня был ему почти рад. Правда, запомнилась вчерашняя усмешка Веринаго: про воз империи он слышал от Бошко не впервые. Аполлон же Антонович избегал повторять при одних и тех же лицах свои афоризмы.

Вспомнив об усмешке Веринаго, Бошко порозовел и отошел к окну.

— Я приму предложение Ротберга,— сказал он.

Веринаго взглянул недоверчиво.

Медальный профиль Бошко чеканился в пролете окна. Серебристая его голова — голова породистого патера — была неподвижна.

Веринаго затряс серыми мешками щек, схватился за обшлаг своего пиджака, захрипел шопотом:

— Вы? Вы, Аполлон Антонович...

Бошко со сдержанной улыбкой скривил бескровные губы.

— Я приму его предложение,— сказал он жестко.

Веринаго растерянно замолк. «Ведь с чорта станется,— подумал он с испугом.— Перетеатральничает, как всегда».

— Не будем об этом больше, — произнес Бошко.

Сказал он это, как сильный — слабейшему. Вынул шахматы. Веринаго покорно сел к столику, искоса поглядывая на знакомый ему столько лет профиль. Лицо Аполлона Антоновича казалось высеченным из теплого мрамора.

«Недаром,— думал Веринаго,— недаром эта сумасшедшая католичка, Тереза Павловна, недаром она...»

Он не додумал: уверенная игра Бошко вернула его к шахматной доске.

Проводив Веринаго, Аполлон Антонович надел пальто, вышел на улицу.

Знакомый путь. Переулок, улица, вой трамвая, автомобили, снова переулок,— глухонемой, залегший калачиком в пухлом снегу; он почти воспоминание, почти прошлое. Рядом его сверстник перестал существовать,— там вырос сквер и новые дома с квадратными окнами: уже не переулок, а улица.

Впереди шли девушки, захлебываясь рассказом: «Он мне... а я ему и говорю... а он мне...» Старушка прошла, шепча и сокрушаясь. Высокий человек в круглой шапочке-кубанке, в щегольской поддевке, раскачиваясь, оглянулся. Кубанка лихо легла на левую бровь высокого, неверный взгляд его плыл по мостовой.

Бошко шел к церкви. Церковь ему была необходима, как бром. Изредка нужно было отодвигать от себя тревожное, современное, чужое.

В церкви золото икон плывет в полумраке. Огоньки тоненьких свеч трепещут, томясь. Молитвенно летят своды ввысь. В этом во всем — взгляд далекого детства, не выплеснутого из сознания,— далекое детство, материнская траурная косынка, тихая рука матери на шелке детских волос...

У самой церкви Бошко встретил Ротберга. Сейчас встреча эта была неприятна.

— Шел к вам,— сказал Ротберг, оглядываясь.

Аполлон Антонович поморщился.

— Что, есть разговор? Зайдем тогда сюда, в церковь. Там теперь почти пусто.

В церкви Ротберг едва не забыл снять шапку. Сухая тревога шла от него, заражая профессора.

— Сегодня еду в Ленинград, не надолго.

Они остановились в правом крыле. Поодаль, слева, смутно темнела кучка женщин. Возгласы неслись с клироса.

— Есть надежда, что свяжусь там с друзьями. Могут ли я им сказать об этом писателе... о французе?

— Так же нельзя,— обиделся Бошко,— мы всех распугаем. Завтра я опять буду иметь встречу с французом. Но торопливость вредна. Лоран — обыкновеннейший турист. Конспирация ему покажется дикой, как средневековье. Не забудьте: я встречаюсь с ним открыто, он известен в ВОКСе.

Ротберг молчал.

Чуть заметая смолистая струйка пронеслась в воздухе, — ладан берёгли, введя режим экономии. Бошко успокаивался, бром начинал действовать. И досадно было только, что рядом — Ротберг с его нерусским лицом.

— Мне ваше поведение не нравится,— прошептал Ротберг.

— Не сейчас, не здесь! — заторопился Бошко. — Ах, как это неприятно!

— Может быть, пройдем к вам на квартиру?

— Ну, хорошо.

Они вышли на паперть. Ротберг рывком нахлобучил на голову шапку и повернулся к Бошко.

— Послушайте,— пробормотал Бошко, бледнея,— за нами следят, поглядите напротив.

— У страха глаза велики.

На другом тротуаре, прислонившись к запертой палатке Мостропа, стоял высокий человек в кубанке.

У Бошко противно и щекотно занял низ живота,— как всегда в минуты опасности или несчастья.

— Идем в разные стороны! — кинул Ротберг и повернул налево.

Аполлону Антоновичу пришлось идти в другую сторону. Посмотрев вполборота назад, он увидел: парень в кубанке глядит вслед.

Бошко, не оглядываясь больше, ускорил шаг. Порвнявшись с открытой калиткой, он не мог удержаться и зашел во двор. Во дворе ящиками лежали унылые, низкорослые флигели. Две женщины стояли на снегу — посреди двора — и, разговаривая, кричали, как глухие.

Бошко пересек двор, вошел в первый подъезд и стал быстро подниматься по лестнице. На миг возникла мысль: если бы под лестницу, согнувшись... Он подавил это желание.

Немощная лампочка еле освещала грязные ступеньки. На ступеньках тускло блестели плевки; Бошко обходил их по привычке.

Сзади послышались неторопливые шаги.

«Это тот!» — подумал Бошко. Перед ним мелькнули — его кабинет, заснеженная тихая улица, покой, безопасность. Почти бессознательно схватился он за ручку старомодного висячего звонка. Проволока всхлипнула. Дверь приоткрылась; жуя что-то, выглянул человек в жилетке.

— Иванов здесь живет? — назвал Бошко первую пришедшую на ум фамилию.

— Я — Иванов. Заходите.

Профессору показалось, что он бредит. Он вошел в темную переднюю и захлопнул за собой дверь.

— Позвольте... может быть, адрес...

— Какой адрес? Ну, я — Иванов, что нужно?

— Меня тут направили... Мне нужен портной Иванов.

— Портной? Нет, я не портной. Не портной я. И не был портным. Вы какого же это Иванова ищете?

— Я хотел костюм...

— Тут во дворе еще Ивановы живут. Потом Ивановские напротив, в квартире девятнадцать. Только и там портных не предвидится.

— Простите.

Бошко открыл дверь на лестницу.

На площадку, вздыхая, подымалась женщина с узлом.

— Через два дома по правую руку портной живет. Только фамилия его Буря. Портной Буря!— крикнул вслед ему Иванов.

Лестница кончилась. Бошко выглянул во двор. Приклеенные к снегу, попрежнему неподвижно чернели две женщины и перекликались, как в поле.

Тревожно зиял проход в ворота — в переулок. Ити туда — назад — Бошко был не в состоянии.

Повернувшись, он увидел в противоположном конце двора нишу других ворот. Сквозной двор? Сдерживая свое ныншее от медленного шага, покрывшееся мурашками, вопившее о бегстве тело, он прошел мимо женщин.

Это был лишь второй двор — глухой, пустынный. Сизый облупленный дом замыкал его. По бокам, чернея широкими щелями, тянулись ветхие сараи. Томясь, Бошко повернул к ним.

За сараями высилась ограда. В серую штукатурку впилась толстая проволока, протянутая откуда-то сверху. Многолетняя ржавчина легла от нее на ограду. Как прядь рыжих волос. Или — волна засохшей крови.

Вздвогнув, Бошко взялся рукой за проволоку. Взглянул вверх. Ограда была высокая, такие в старину любили строить купцы, не жалея дешевого кирпича.

Перед глазами тошнотворно мерцал кровавый подтек ржавчины. Чувство реального терялось. Бошко

вспомнил, что у него в кармане лежали долларовая бумажка и экспортная коробка папирос. На крышке коробки—боярский возок с крутозадными изумленными лошадьми. Спросят: откуда взял? Он купил папиросы в тридорога у мальчишки на улице. Может быть, экспортной была только коробка. Аполлон Антонович вытащил ее из кармана, сунул в нее долларовый билет, смял коробку и протиснул ее в щель сарая. Коробка скользнула, исчезла; было слышно, как она мягко шлепнулась на землю за дощатой стеной.

Бошко вздохнул с облегчением и снова почувствовал свое тело. Оно было влажное от пота. Ему стало жаль себя. «Вот всегда так. Нервы. Проклятые нервы».

Надо себя контролировать. Он сделал сейчас странное — с папиросной коробкой. При чем тут папиросы? Еще немного — и в мозгу что-то повернется непоправимо, навсегда.

Он снова взялся за проволоку. Если ступить сюда, подтянуться на руках...

— Ты это что ж, гражданин?— спросил неторопливый голос.

Бошко опустил руку.

Позади стоял бородатый мужчина в бараньей шубе до пят. Руки у него были сложены, как у Будды. Он смотрел со спокойным осуждением.

Профессор потерянно двинулся мимо него.

— Образованные,— равнодушно сказал бородатый.

Это дворник. Все просто. Надо только сосредоточиться. Ничего еще не изменилось. Бошко почувствовал внезапный, проясняющий сознание прилив злобы. Хороший экзамен. Хорошая проверка себя.

Выхода все же не было; опять ждал переулочек, ждала встреча с человеком в кубанке.

Кричавших женщин в первом дворе уже не было. Вместо них в снегу вихрилась шумная стайка детей.

Девочка самозабвенно скакала, вращая веревку. Она наступила профессору на ногу и вскрикнула: «Ой, дяденька!» Не глядя по сторонам, Бошко прошел в ворота. Мысли стали вялые, как вата. За воротами ждет опасность. Человек в кубанке стоит, должно быть, у калитки. Или поодаль, в стороне. Надо организовать мысли.

Переулок. Пусто. Возможно, что тот прошел мимо ворот — дальше. Тогда нужно идти в обратную сторону. Бошко повернул назад, к церкви. Перешел на другой тротуар.

Как странно отполирован снег. Его не успел соскрести лопатой дворник. Дворник, бородач в длинной бараньей шубе. У дворника в его каморке смрадное, обжитое тепло, мирная жизнь. Разве можно сейчас об этом думать?

Бошко оглянулся. Переулок был пустынен, спокоен, тих. Какое счастье — спокойствие! Хотя бы не надолго.

Вперед была улица, звенящая трамваями.

Переменить два, три трамвая. Уехать. в Ленинград?

Какая противная палатка. Она не на месте — отняла полтротуара и часть мостовой. Ее окружили замерзшие потоки мочи. Десять минут назад за этой палаткой, облокотясь о стойку, стоял тот. В кубанке. Ведь он и сейчас, конечно, следит. Бошко чувствует его взгляд. Скорей к трамваю!

Говорят, на допросе они очень вежливы. Бошко осторожно обошел желтую обледенелость, окружавшую палатку. Ладони его онемели, кожа стала чужой: за палаткой, хищно согнувшись, стоял человек в кубанке. Холодея, Бошко взглянул на него в упор.

Обнявши водосточную трубу, человек неверным взглядом изучал мостовую. Рукав его щегольской поддевки был отвратительно измазан желтой слизью.

Он не видел Бошко. Он был мертвецки пьян.

19. ПИСЬМО В ПАРИЖ

«Мой дорогой Анри!

Как тебе известно, я не интересовался политикой — из брезгливости. Здесь я потерял это чувство.

Политика Советов — инженерное искусство. Оно имеет на один объект больше, чем деятельность механика или технолога. Этот объект — время.

Инженер работает над вещами, монтируя и налаживая их для действия. Я увидел инженерное искусство, посредством которого производят монтаж и наладку времени.

Здесь время прессуется.

Его организуют, им заряжают целевые аккумуляторы. Без этого оно текло бы, как течет всюду, медленно меняя русло и пенясь по временам восстаниями и кровью.

Мы — на Западе — пытаемся обмануть время, организуя вещи. Но мы обманываем самих себя. Мы не вырываемся из объятий лет, льющихся в неуловимом хаосе.

Наша активность — в приспособлении.

А здесь от спрессованного времени можно оттолкнуться и попасть в другую эпоху, в эпоху новых вещей и новых отношений. Иногда это только контуры, но контуры, покоряющие властной четкостью своих очертаний. Они станут действительностью.

Какое напряжение! Штаб, работающий над временем, как над материалом, оброс вчерашними людьми, которые пытаются говорить языком сегодняшнего дня. Они создали среду организованного притворства. В этой вязкой среде отдельные части аппарата буксуют.

Но это не основное. Это только часть трудностей, которые неисчислимы и которые преодолеваются.

Ты смеешься, конечно: мой Лоран стал советским энтузиастом. Нет. Моя оценка бесстрашна. К бесстрастию присоединяется доля удивления.

Характер удивления мне неприятен.

Замечал ли ты? Мы привыкли удивляться сверху вниз. Неизвестно, заслужили ли мы это право. Наше удивление иронично.

И вот теперь мне приходится удивляться снизу вверх. Это не очень приятно. Я уже недалеко от сознания, что со своим великолепно тренированным интеллектом мы ниже совершающегося здесь.

Старый повеса! Тебя попрежнему больше всего интересуют разговоры о женщинах. Твое письмо полно расспросами о них.

Да, они и здесь входят в мою жизнь. Главным режиссером моих встреч давно уже стало воображение. Вокруг реального оно лепит орнамент несбывшихся подробностей.

Русские женщины своим наивным мужеством упрощают любовный сюжет. К сожалению, это не всегда красит жизнь. Мы с тобой неисправимые гурманы, мы воспринимаем грубую ткань жизни, как экзотику.

Прости, я опять вернусь к прежнему.

Нам дано многое понять и малое сделать.

И, мой милый Анри, мы кончаем свой жизненный подъем, нам скоро придется заглянуть вниз; дорога скользнет с вершины пологой спиралью — чтоб не так страшно.

И тогда не станет ли нам ясно, что мы в чем-то обманули самих себя?

Что сказать о человеке, который со старательным возбуждением сервировал жизненный пир, украшая его цветами своего творчества, — и вдруг увидел при дневном свете остатки нечистоплотного обжорства и у окна — угрюмую фигуру голодного?

.

И все яснее я слышу не знакомую раньше этим равнинам волевою струну.

Она звучит уже не только в России. Она слышна на обоих полушариях.

Не бесполезно ли прятать уши в песке?

Мы сами, не отдавая себе ясного отчета, прислушиваемся — и ждем за этим зовом неизбежного аккорда, который загремит повсюду.

Мы встретим его смятением, надеждой, восторгом и ужасом.

И я тоскую по каштанам нашей аллеи, по тихим каштанам, напудренным пахнувшей бензином парижской пылью. Они остались в моей памяти золотыми, — я уехал из Парижа осенью.

Я снова хочу увидеть их черные стволы и познать безучастие их гостеприимства.

Как хотелось бы мне забыть о будущем, которого я жду, содрогаясь, и для которого я слишком слаб!

Мой друг, мы, вероятно, скоро увидимся.

Твой Л о р а н».

20. ПРИКАЗ 123 И КЛУБНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИНЖЕНЕРА КАНЕВСКОГО

Приказ № 123

§ 1. Замначстроительства и директора завода Л. И. Дубин-Корень отчисляется от занимаемой должности.

§ 2. Инженер Каневский Г. И. переводится на строительство водозабора начальником участка.

Трубы не шли в грунт. На глубине 70,13 метров начались трудные породы. Камень зафрезировали, но начавшийся слой мергеля с песком завалил работу.

Накануне прихода Каневского на артезианскую скважину инструктор Буроводтреста сказал:

— Надо бить породу ударами труб.

От ударов трубы загнулись на конце. Расплющились в тарелки.

Работы остановились.

Сквознячок в буровой вышке начал отдавать винным перегаром.

Рабочие — молодые парни — лениво сквернословили у входа.

Каневский нашел десятника в конторе — в отгороженном досками углу. Лампочка величиной с графин сияла здесь с ликующей бесхозяйственностью. На стенах буравы блестели, как повисшие ожерелья.

Десятник, разувшись, разглядывал черный палец на своей ноге.

Натянув сапог, он подвел Каневского к длинному, разгороженному на клетки ящику. В клетках лежали образцы пород: это был пройденный путь в 70,13 метров. Желтый песок, песок с галькой, белый песок с водой, снова желтый песок, песок илистый, песок водоносный, песок с галькой, черная глина, песок водоносный, черная глина, песок, камень-известняк.

— Сколько рабочих на скважине?

— Двенадцать, по четыре человека в смене.

Нужно было достать расширитель. Бурить дальше можно было, только расширив скважину и выпрямив трубы.

Расширителя на строительстве не было.

— Вот записка в главную контору. Добейтесь получения зубила из механического.

— Округлить бочка в трубах? — спросил десятник.

— Да. Возможно, что конец зубила будет широк для труб. Все равно надо попытаться и занять рабочих. Я еду в трест за расширителем.

В поезде Каневский раздраженно думал: кому он

обязан переводом на новую работу? Доверие это или подвох? Положение на водозаборе напряженное. Основное не в скважине. Скважину стали бурить только потому, что она была наполовину пройдена еще в тысяча девятьсот втором году. Старые хозяева хотели снабдить артезианской водой рабочий поселок, но потом раздумали и забросили начатую скважину.

Основное — в работах на реке. Они должны быть закончены до половодья.

Если перевод на водозабор — подвох, то кто его инициатор?

В тресте Каневского приняли равнодушно. Расширитель отпустить не представлялось возможным. Каневский два часа толкался по инстанциям — безрезультатно.

Он озлобился и начал громко говорить о том, что надо выяснить, кто сознательно вставляет палки в колеса ударной стройке. Сказав это, он удивился своим интонациям, которые ему самому были не знакомы.

К концу дня резолюция об отпуске расширителя была получена.

Вернувшись на завод, он распорядился: не дожидаясь расширителя, применять долото. Десятник не хотя принял распоряжение. А рабочие оживились — видимо, были рады концу вынужденного безделья.

Домой Каневскому поехать не удалось, так как вечером в клубе у него должна была состояться консультация для рабочих-изобретателей. Он опять неосторожно дал на это свое согласие.

В новом рабочем клубе Каневский не был ни разу. В комнате, похожей на фойе театра, висели по стенам диаграммы, стояли щиты с прикрепленными к ним слесарными инструментами: выставка ФЗУ.

Высились две пальмы с рыжими лохматыми ство-

лами. Под пальмами стояли пижоны, на их ногах грязно-белыми блинами оплели гетры.

Где-то с бархатной неуверенностью переговаривались оркестровые трубы — происходила сыгровка.

Местонахождения кружка изобретателей никто не знал.

Каневский спросил о нем даже у заведывающего буфетом. Завбуфетом, считая бутерброды с брынзой, сказал:

— Погодите. Отойдите.

Каневский отошел. Потом вернулся в комнату, где была выставка ФЗУ.

— Она мне твои письма показывала, — проблеял один из пижонов, топыря над папиросой мизинец — для изящества. — Ты писал, что застрелишься.

Прошла ватага комсомольцев, ругая Ницше. Пижоны с враждебной внимательностью поглядели им вслед.

Каневский заглянул в зал.

Там за красносуконным столом сидел на эстраде президиум: пожилой рабочий, женщина, комсомолец.

Зал не был полон. Дальняя его часть тонула в полумраке — лампочки там были потушены.

Председатель, пожилой рабочий, встал и сказал несколько слов тихим голосом.

— Говори сильнее! — крикнули из зала.

— Сейчас сам товарищ Косманский пусть объяснит, — сказал председатель.

На эстраду поднялся усатый человек в бобриковой куртке. Осанисто повернувшись, он с достоинством оглядел зал.

— Я в жизни нашел две вещи, — произнес он и остановился.

Зал, заинтересованный, молчал.

— ...Ум и вино!

— Вино,— уж этого бы словно и не надо,— заметила женщина из президиума.

— Я пью с умом. Ум помогает мне строить свою жизнь...

— А вино мешает!— не удержавшись, крикнула с места краснощекая комсомолка.

— Ты откуда знаешь? Ты пила ль когда?

— Никогда.

— Вот. А ты попей с мое...

Зал грохнул хохотом.

Каневский вышел, прикрыв за собою дверь. Суд над пьяницей. Как это все избито и, по существу, бесцельно!

В фойе пижоны были уже не одни. Они вились вокруг двух девчонок с неумело покрашенными, морковного цвета, губами.

Один из пижонов — его называли в разговоре Сеней — вытряхнул перед девчатами весь ворох своих острот.

— Я, знаете, очень болен: у меня расширение зрачка на чужую собственность... Однажды я участвовал в конкурсе на красоту телосложения: все приходили, смотрели, плевали и уходили... У меня было столкновение с милиционерами. Так я один заставил бежать двух милиционеров. Я бежал впереди, а они за мной.

Девчонки повизгивали от удовольствия.

Другой пижон позавидовал Сене и начал разговор о трамвае. Но все лавры были присвоены Сеней. Он перебил:

— Ах, да: трамвай. Один мне говорит в трамвае: «Дурак!» А я: «Ваше имя так? Будем знакомы».

Потом он рассказал, как сегодня утром ему пришлось сварить яйцо настолько крепко, что он не мог его съесть и выбросил на мостовую. Яйцо попало в автомобиль и разбило вдребезги заднее колесо.

— Сеня, а где теперь ваш брат?— спросила одна из девчат, осторожно облизнув морковные губы.

— В Москвошвее.

— Устрой меня в Москвошвей, в столицу,— сказал товарищ Сени.

— Нет, тебе нужно совсем другое поприще. Пошли заявление в китайскую прачешную. И дай на минутку папиросу за хороший совет.

«Какая пошлость, какая пошлость всюду!»— думал Каневский, морщась.

Перед уходом он решил — для очистки совести — заглянуть во все комнаты по коридору. В одной происходила сыгровка. В другой — за круглым столом — подростки что-то рисовали, высунув от усердия розовые языки. У дверей третьей комнаты его догнал старик Полуяров, из механического.

— Плохо оповещено было,— пробормотал он, извиняясь.

— Не интересуются, стало быть.

— Не интересуются? Как только узнают,— валом повалят, помещений нехватит.

Помолчав, он виновато спросил:

— А, может, пока соберутся, мы на совещании побудем? Тут совещание о технормировании. Для вас интересно...

— Да нет, мне домой,— нехотя ответил Каневский — и пошел за Полуяровым.

Совещание было во втором — зрительном — зале. «Вот где денег не жалеют», — усмехнулся Каневский.

Говорил Ковылин, слесарь.

— Какая картина наблюдается в цехах, товарищи? Вот такая картина: идет нормировщик или кто там из администрации, а у нас — уши топориком. Медленней стараемся работать: не хронометраж ли, мол? Кого обманываем? Самих себя.

— Ой, Ковылин, с бритвы мед слизывать хочешь!

— А кто его на бритву намазал? Не ты ль? Дело острое, верно. Мы за заниженные нормы держимся, ТНБ «классовым врагом» называем. И вот такие субчики — Миловановы — вредят, а мы, выходит, не помогаем ли им в этом?

Он взялся за графин, что стоял на столе.

— Да там вода, Ковылин, не водка! — крикнул кто-то.

— А я не зашибаю, ты зря это.

— Да я шутейно.

— И я обратно шутейно. Перехожу к докладу.

— Болтовня! — сказал сердито Каневский Полуярову и пошел к выходу.

Полуяров догнал его и спросил, переминаясь:

— А если бы вы со мной, Георгий Иосифович... о педальной трубке?

— Какая трубка?

— Да вот не захватил ли я ее с собой... — Он порылся в своих широких штанах и вытащил полый кусок железа. — Вот поглядите: ее до сих пор паяют; медь идет на это, горно чистить приходится... А тут только две слезки капнуть.

Каневский взял педальную трубку из его рук. Она была прикреплена к четырехугольной пластинке двумя свинцового цвета каплями: электросварка взамен пайки медью.

— Дешевше пайки в таком виде; раньше работа становилась в десять копеек, теперь в две с половиной, — проговорил Полуяров.

Каневский пошатал трубку, пытаясь оторвать от нее пластинку.

— Жми! — вдруг воодушевился Полуяров. — Жми, не бойся. Крепче пайки.

— Ну и что же Бриз — принял?

— Так вот теперь слушай историю. Подал в Бриз.

Там тянули-тянули, затагнули. Засосали. По прошествии времени захожу. «Ах, это, говорят, педальная-то трубка? Так это давно, до тебя еще принято». Ладно. Полуяров засох. Жду. Месяц, два — и все по-старому работаем: пайкой. Меня все ж таки скребет. Пошел опять в Бриз. «Товарищи, мне премия не нужна. Но что ж это вы так немножко хладнокровно глядите?» А там уж новый товарищ сидит, не знаю фамилии. «Да, Полуяров, ваше предложение принимаем. Только вот как технически приспособить — неизвестно». — «Довольно стыдно, — говорю, — что ж я, неграмотный, должен своей темной головой об ваши светлые стукаться, и все ж таки, извиняюсь за грубое выражение, ничего не выходит? А если сюда скобочки, тогда как?» — «Ах, да, товарищ, это очень замечательно тогда выходит!» — «Довольно стыдно, что вы своей светлой головой...»

— Так, значит, предложение приняли?

— Два месяца прошло с тех пор — и все паяем по-старому.

— Предложение не может вызывать сомнений. Я протолкну в Бризе.

Каневский вдруг вспомнил, сколько времени лежало у него предложение Леонардо, и добавил:

— Мне на это два дня надо, не больше.

— Хорошее дело для нашего цеха сделаете, Георгий Иосифович.

Полуяров пошел проводить Каневского.

— Пятьдесят шестой мне, — грустно говорил он по дороге к вокзалу. — Пятьдесят шестой, а грамоты я не знаю. Стараюсь достичь, — ну, трудно. Все ж таки углубляюсь — вот тут же в ликбезе, в клубу. А еще что скребет: собрание. Мечтаю объяснить свою мысль собранию, а как на трибуну, — мнения все из головы уходят, голова пустая. Полагаю: обратно же это — от неграмотности.

Он замолчал, с укором обводя взглядом здание вокзала.

«Все это мелко, как пыль,— думал Каневский в поезде.— Педальная трубка. Приспособление для сверления кронштейна номер пятнадцать. Распиловка дерева по способу Леонардо. Мелко, как пыль».

Развернув газету, он прочел: на одном из южных заводов пылеуловитель не очищали три недели, и он рухнул — стальные листы не выдержали многотонной тяжести. Предстоял суд над виновными.

Вот какую силу составила металлическая пыль, собранная воедино.

Каневский усмехнулся: и здесь газета пыталась опекать его мысли.

Дома он до двух часов ночи писал. Прочитав написанное, яростно зачеркнул. Незачеркнутыми остались строки:

«А что, если на минуту отодвинуть Мефистофеля в сторону и постараться сделать самое простое: от фактов идти к выводам, а не наоборот — не с готовыми выводами подходить к фактам?»

Ф а к т ы.— Рабочие в кузнице шумели о шаботе, казавшемся им ненадежным. Я прошел мимо, не желая вмешиваться в «чужую компетенцию». Шабот лошнул от первого же удара молотом.

Старые производственники собрались в клубе—обсудить, как улучшить технормирование. Они постановили пересмотреть «евангелие»— табличку норм. Это им невыгодно: на заниженных нормах они зарабатывают больше. Слесарь Ковылин согласился взяться за работу нормировщика взамен Милованова. В зарплатке Ковылин теряет: нормировщик получает двести двадцать рублей, а слесарь вырабатывает до четырехсот. Я побыл на этом совещании и ушел, рассердившись на «болтовню». Вероятно, нетрудно подсчитать,

сколько миллионов сэкономит государству эта «болтовня».

Предложение Леонардо даст заводу сто двадцать три тысячи в год. Оно пролежало у меня тринадцать дней. Легко высчитать, во что обошлись производству эти тринадцать дней.

Что это я — каюсь? Кающийся инженер! Но мне не перед кем каяться. Я просто ищу истину. (Как громко!)

Я дал оценку рабочим изобретениям: мелко, как пыль.

В ы в о д ы ?

Но мне помешал Мефистофель:

— Выводы? Тебе нужна новая оценка фактов, чтобы как-нибудь войти в ряды строителей. По существу, их судьба для тебя безразлична. А, значит, безразлично и самое строительство. Но без напряженного интереса ко всему, что двигает производство вперед, жизнь твоя всегда будет ущемлена узким кругом личных переживаний. Это — частичное самоубийство. Новая оценка фактов нужна тебе для себя лично.

Какой прохвост!

Прохвост, составляющий часть моего «я», в чем-то прав.

Но ведь я не хочу приспособляться, примазываться. Я хочу быть искренним.

Приспособиться к новому — легко, прирасти органически — трудно. Для иных — невозможно.

Еще один «факт». Меня премировали — за ускоренные темпы по бурению скважины — двухдневной поездкой на Автогигант.

Глупее всего — что я польщен этим. Я силюсь найти в этом выражение особого доверия ко мне (не деньги, а гостевая путевка — представителем от завода), доверия, которого, вероятно, в действительности нет».

21. ЗАПИСКИ КИЖЕВЦА

Из блокнота Фирсова

Наконец новостройка.

За коробкой нового чугунолитейного цеха — на рельсах стоит старый паровоз. Он нужен для приготовления теплобетона в морозы.

Сейчас оттепель.

Начал работать бетонный завод — конвейер.

Петька Верейников назначен туда мотористом — к бетономешалке.

Он рассказывал, что на бетонный завод ставят предпочтительно лодырей. Конвейер подчиняет их темпам, нужным строительству.

Через три дня лодыри или уходят с работы (редко) или начинают работать по-настоящему.

Сперва—гравиемойка. По ленте транспортера ползет гравий. Транспортер жужжит. Гравий поступает в гравиемойку; там вращается, грохочет цилиндр. Цилиндр заканчивается ажурным раструбом,—в ажур стекает грязная вода. Вымытый гравий падает на специальный щиток, оттуда — в подставленную вагонетку. Ни один самый влюбленный в безделье лодырь не в силах глядеть, как гравий, наполнив вагонетку, высыпается на землю,—его потом придется подбирать — двойная работа. Вагонетки по рельсам направляются к бетономешалке.

Жидкий бетон — зеленоватого цвета, похож с виду на овсяной кисель.

Рецепт: одна часть цемента, две части песка, четыре части мытого гравия.

Составные эти части отмериваются мерильным ящиком и замешиваются в ковш, ковш ползет по вертикальным, загнутым вверху рельсам; по изгибу рельс ковш заворачивает к барабану бетономешалки и запрокидывается над ним.

Петька Верейников стучит по ковшу огромным деревянным молотом — выколачивает остатки. Потом включает мотор. Мотор воет, барабан поворачивается; огромные ножи, помещенные в нем, с грохотом перемешивают гравий, цемент и песок. Барабан опрокидывается в подставленную вагонетку, — зеленый кисель готов.

Для газеты нужен снимок бригады Шурикова. Она перевыполняет задание. На расспросы Шуриков отвечает охотно. Он с воодушевлением хвалит себя.

Я говорю:

— Сведения будут проверены дважды — у прораба и в завкоме.

Шуриков не обижается:

— Ну, а как же без проверки!

Может быть, и правильно: когда заслужил, — хвалить себя, не чинясь.

Шуриков удовлетворенно смотрит на мой блокнот.

— А когда придет фотограф?

Рыжая щетинка блестит на его щеках. Солнце. Наверху, у перекрытий, женщины поливают бетон водой. Они ходят там, под самым небом, и поют неторопливые песни. Похоже, что под праздник — моют полы.

Я иду по следам бетона. Его подвозят в тачках к сталелитейному.

Здесь в подъемнике он ползет наверх.

В сталелитейном у вольткрана стоят Талызин и новый отсек парткома.

— Мне твоя биография известна, товарищ Талызин, — говорит отсек.

— Откуда?

— Я в твоей дивизии был третьего полка рядовой боец.

Главинж поворачивается к отсеку.

— Ты намного меня моложе,— говорит он вроде как с сожалением.— Погляди-ка, как вольткран ворочает. Слонище!

— Вздорность обвинений против тебя подтвердилась.

— Потому что тебе известна моя биография? Случайность?

— Нет, другое. Тоже случайность: шофер Суслов и Корнаков когда-то учились в Воронеже вместе, в ФЗУ. А теперь — не скажу, как — а Корнаков узнал, что за поднятое против тебя дело Суслову было обещано место завгаражем.

— Кто обещал?

— Этим мы займемся отдельно. Случайности имеют закономерные причины. Вольткран — американская штука?

— Нет, из Германии. Ты не сердись, Сидорин,— я тебя совсем не помню по дивизии.

— Так я ж был семнадцатилетним парнишкой. Деревенским, желторотым. Ну, я пошел! А на специалистов не кричи. Сдерживайся.

— Принять как партийную директиву?

— Прими как партийную директиву.

В механическом цехе бригадир опять жаловался на Титкова: запорол две детали.

Алексеев изобрел приспособление для сверления кронштейна номер патнадцать. Изобретение: 1) делает излишним труд чернорабочего, который раньше держал тяжелый кронштейн с опасностью искалечить себе руку, 2) ускоряет процесс сверления, 3) экономит пятьдесят процентов стоимости обработки (уничтожает брак). Дать в газету короткую заметку.

По талому снегу идет дед в обгорелых валенках. Снизу они совсем обуглились, кверху по ним бежит рыжая подпалина. Дед спал в степи у костра. Должно

быть, выл ветер. Огонь воровски лизал валенки. Теперь воет мотор, включенный Петром Верейниковым. Дед работает на бетонном заводе,— отмеряет ящиком составные части замесов.

Неподалеку от бараков мальчик лет пяти пыжится:

— Кр-рыгом. Кр-ры...

Девочка поворачивается:

— Коль, так?

— Не так. Кр-ры... Кр-рыгом!

— Коль, так?

— Не так. Кр-ры...

— Ну, дурак!

Мальчишка — внук Полуярова, из механического цеха. Дедушка вытащил его летом, полуутонувшего в яме, что у колодца. Яма глубокая. Когда Полуяров подошел к ней, на воде был виден только кончик голубой рубашки. Матерясь с перепугу, дед вытащил внука. Мальчишка отплюнулся и сказал сипло:

— Деда, а я там свою палку забыл.

Дети играют на том самом месте, где чуть не убили рабочего Абрахманова.

Наша газета прохлопала это дело.

Партком переизбран, редактора Дымщица сняли.

Для статьи о бетонном заводе — заголовок: «Педагог-конвейер». Конвейер воспитывает вчерашних крестьян.

Для подстанции номер два: «Плита его высочества на службе социализму».

Редактор, впрочем, недоволен: слишком звонко.

У нового редактора курносое припухлое лицо.

А парень он будет, кажется, подтверже Дымщица.

Промышленные рабочие к пайку прикупают продукты на рынке.

Строительные рабочие не только ничего не покупают, но еще продают свой паек.

Инстинкт накопления. Побольше кредиток зака-

тать в голенище. Чем медленнее перестройка людей, тем труднее ее проследить. Быстрое усваивается охотнее.

Ведущая роль промышленных рабочих на строительстве не видна. Что же профсоюзные организации? Дополнение к словам Леонардо.

Вечер. Оттепель. Снег — мелкий, щекочет лицо. В поселке у сквера парни:

— Глазки, как коляски.

— Уйди ты!..

— Ой, сердитая! Мужа на постель положила, а сама гулять пошла.

— Сережка, где твоя Матрешка?

...Было трудно мне сначала,
А привыкла — ничаво.

...Главинж сказал при мне сегодня:
— Скоро чугунолитейным будут командовать краны.

Разговор главинжа с отсеком меня не удовлетворил. Их встреча могла быть иной.

Например: сойдясь у вольткрана, они вспоминают бои под Лисками. Или под Ростовом.

Но не будет ли это восклицанием: «Погляди, Мирон, какая красота!»

Мирону некогда глядеть.

Талызин с секретарем парткома не стали вспоминать о боях.

И были ли они вместе в боях,— я ведь не слыхал об этом.

Так жизнь снижает литературную тему.

Я не знаю, сердиться ли на нее за это. Все-таки она остается ценнее выдумки.

Не надо: «Погляди, Мирон, какая красота».

22. ДИАЛОГ В ВАГОНЕ

В купе вошли трое. Видимо, они только что пообедали в вагон-ресторане,—судя по репликам о какой-то рыбе и о дороговизне пива.

Двое из них полезли наверх, и там — вперемежку с кряхтением и зевками — завязался вполголоса разговор о высоких материях.

— Нет, серьезно: я западно-европейского человека уважаю. Носки у меня — вдребезги! Ажур, венский шик. Западно-европейский человек, ну, скажем, буржуа, или интеллигент, он знает, чего хочет, чего ему следует в жизни добиваться. Исторические там перспективы, может быть, ему и не так видны, ну, а уж насчет личной своей судьбы он со школьной скамьи разметил все: что и к чему. А у нас? Не буду на других кивать. Возьмем меня. Вот вы давеча удивились, как это я с Анной Дмитриевной разошелся на старости лет. А ведь, как подумаешь, удивительно не это; удивительно то, как это я на ней женился. Любовь... Первый мой роман, настоящий, был отравлен книжностью. Рос я мозгляком, книжки читал без разбору. И по книжкам уже все знал наперед. А что мне самому, лично вот мне, надо в жизни — так и не узнал. Да. Стало быть, первый роман. Обстановка: сад, сирень, луна. А тут еще мельница бормочет, и даже, не поверите, соловей поет. Шаблон. Как сейчас вспомню, не так плохо все это было. Ну, а тогда мне только восемнадцать лет исполнилось. Я был отравлен книгами. Сижу, бывало, и издеваюсь над избитой расстановкой вещей в моем романе. Роман был испорчен. А девушка была хорошая и, кажется, меня любила.

Сосед Каневского на нижней койке захрапел.

— Андрей Петрович уже заснул... Куда бы штаны приспособить? Всем бы хороши наши спальные вагоны, а о вешалке для одежды никто не додумается,

хоть убей. Тут шпинтик должен быть над окном... Есть. Ну-с, так вот, роман... Портило дело мне еще одно постороннее лицо: Нюшка. Это была четырнадцатилетняя девчонка с этаким насмешливо длинным носом и крысиными глазками. И в косичке у ней было что-то крысиное. А может быть, вы спать хотите?

— Нет-нет, Евгений Александрович, я слушаю.

— Представляете себе: в самые ответственные моменты моей любви я вдруг видел подымающуюся над кустом — роман разворачивался преимущественно в саду — острую голову Нюшки. Я ее ненавидел. Через четыре года, уже в Питере, студентом, я встретил эту самую Нюшу. Я ее не узнал, она меня окликнула. Это была красавица с влажными, этакими великолепными глазами.

— А ведь вы говорили: крысиные...

— Выровнялась. С женщинами бывает. Обычная вещь. А случается и так: девочкой — херувим, а вырастет — мордovorот. Короче говоря, вот на этой Нюше я и женился...

— Позвольте...

— Ну да, это и была моя Анна Дмитриевна. Когда вы с ней познакомились, ей было уже далеко за тридцать — и все ж таки хороша, не правда ли? Любил ли я ее? Нет. Симпатизировал я ей как человеку? Нет. Я ее и не знал совсем. Я и до сих пор не знаю, почему я на ней женился.

— Слушайте, Евгений Александрович, — так вы во всем нелепость, алогизм увидите. А, по-моему, природа логичней вашего: вы были молоды, она — красива...

— Нет же, нет! Это тоже было книжное. Ни при чем природа. У нее жених был офицер. Жених страдал, всякие жесты делал. Оригинальным мне все это показалось. А все дело в том, что я не знал, как мне надо поступать в жизни. Слушайте дальше. Прожил

я с Анной Дмитриевной ровно шестнадцать лет. Детей у нас, как вам известно, не было. В начале революции зажили было, как все: пайки, саночки для пайков, дрова. Даже легче как-то стало. Думы были подобраны уздой материальных забот. Впрочем, это сейчас так кажется... Да... Потом нэп. Тут моя Анна Дмитриевна развернулась: журфиксы, вечера, какие-то личности с музейными манерами, ручки там целуют, поют под рояль бараньими голосами. Я, вы ведь знаете, все на заводе. Приду — а тут вечер в разгаре. Баритон у рояля блеет что-то лирическое, на столе серебро, моя Анна Дмитриевна крепдешинном обтянута до границ приличия. И тут же телефон, конечно, звонит. Меня. С завода. Анна Дмитриевна зеленеет: ну, опять агрегаты, трансформаторы. Вижу, и гости страдают. Со зла повернусь к ним спиной и полчаса в телефон лаю. А тут еще завела она сеттера, Милорда. Для тону. Гулять чтобы с ним. Милорд этот в передней стонет, нервничает, от нервности псиной воняет. Кажется, он и был последней каплей. Чувствую: не могу больше. Развелся.

— Ну и?..

— Ну и тоже не лучше. Основное-то в том, что я не знаю, что мне надо в жизни делать. Я — инженер, но и инженер-то я только потому, что случайно получил техническое образование. Отец настоял. Купец он был, ему нравилось, чтобы сын инженером... Ну, а в противном случае был бы бухгалтером, делопроизводителем, судейским. Если бы не женился на блондинке, то женился бы на брюнетке. Какой смысл в этом?

— Не могу я с вами согласиться, Евгений Александрович. Как хотите, не могу!

— Постойте. Почему я вам это все рассказываю? Почему — это, положим, ясно: потому что пива выпил. Правильнее будет: для чего рассказываю? Для того, чтобы проиллюстрировать, как мы, русские ин-

теллигенты, никогда не знали, что нам, собственно, надо — даже в личной жизни. Интеллигент болен гипертрофией задерживающих центров. Инстинкт, чутье — отшиблено книгой, чужими мыслями. И в общественном разрезе то же самое: ходит интеллигент и все присматривается — и то плохо и это не так. Так что же — вернуть старое? Нет, нет, как можно. Ну, тогда фашизм? Неприемлемо, не нравится. Что ж нравится? Ничего не нравится. Вот побывал я на нескольких театральных постановках в Москве: строительство, вредительство, кулак, ударник; ударник, кулак, строительство, вредительство. Прямо сил нет смотреть! А ведь в жизни все так и есть: и кулак, и ударник, и строительство. В чем же загвоздка? В том, что пьесу писал человек, который тоже не знает, что ему от жизни требуется. Вкуса он не чувствует к материалу своей пьесы. И пьеса получилась такая, что унеси ты мое...

— Обобщаете, Евгений Александрович, обобщаете. Перегибаете палку.

— В пределах осколков старой интеллигенции имею право обобщать. Я сам, слава богу... Да. Так вот, иду я из театра и думаю: «А чего бы мне хотелось? Пожалуй, если б такое, как у Тургенева...» Так нет же. Взял как-то том Тургенева, прочел — и будто туалетного мыла поел: надушено, парфюмерия. Я к чему все это? К тому, что российский интеллигент никогда не знал, что ему нужно от жизни, и что он сам должен жизни дать. Он пытался создать себе божество: принципы, идеалы, правила. Все это было чужое, с чужого плеча. У интеллигента мозги запылены книгой. До октября семнадцатого года они были запылены книгами неопределенно демократической идеологии. Большевики напрасно на интеллигента всерьез сердились. Поведение интеллигента — это вещь несерьезная, хотя для него и трагическая.

— Как хотите, Евгений Александрович, а такое самооплевывание... Не могу этому сочувствовать.

— Вы и не сочувствуйте. А западно-европейского человека я уважаю. Знать, чего хочешь,— да не мож-гом только, а всей тубухой своей,—ведь это основная предпосылка для того, чтобы жить полнокровно, сочно.

— Большевики тоже знают, чего хотят.

— Я и их уважаю. Ого, как я уважаю настоящих большевиков! Только к ним масса всякой слизи поналипло. Ее я ставлю еще ниже раздумчивых российских интеллигентов, пустопорожних хранителей чужих мыслей.

— Право, Евгений Александрович, я не знаю, как вы с такими идеями жить будете.

— Какие там идеи! Нету у меня идей. Если человек констатирует в одно прекрасное утро свое банкротство, так это разве идея? А как, говорите, жить буду? Что ж, как-нибудь. Впереди — старость, смерть. Вот так потихоньку и доберусь к этому финалу.

— Так и у всех у нас — старость и смерть.

— И верно ведь. Ну, вы меня все-таки утешили. Однако пора спать. И забудьте про наш разговор. Не я говорил, пиво во мне говорило. А что у всех старость и смерть — это вы меня, спасибо, утешили.

23. В ГОСТЯХ У ГИГАНТА

Утром с верхних полок сошли умываться: один молодой, с розовым равнодушным лицом, другой — плешивый, желтолицый; в дряблой желтизне кожи бродили живые черные глаза.

Желтолицый прошел с полотенцем мимо Каневского. Несомненно, это и был любитель пофилософствовать после пива.

Каневский не мог припомнить, где он видел его раньше.

Возвращаясь после умыванья, желтолицый зевнул и искоса оглянул Каневского. Рот в зевке, желтая плешь, быстрый взгляд напомнили Каневскому кабинет Бошко, Ротберга, Веринаго.

Каневский вышел в коридор.

На вокзале три автомобиля были заняты плотно усевшимися людьми. Лица у них были удовлетворенные. Перед отъездом Каневскому внушали на заводе, что он со своей гостевой путевкой получит место в машине Автогиганта. Пока он раздумывал об этом, на последнее, незанятое место — рядом с шофером — уселся желтолицый инженер.

Пришлось искать утренний состав на автозавод. Тут неожиданно повезло. Едва Каневский вошел в вагон, как состав, скрипя, тронулся. Астматический довоенный паровоз с воем потащил его в поле.

В вагоне сидели и стояли бородатые люди в полушубках и лаптях, деревенского вида парни, женщины в теплых платках, с грудными ребятишками на руках.

Похоже было, что какой-то крестьянский табор двинулся на переселение.

Сидевший возле Каневского бородач, выбрав место на полу, высморкался и вытер пальцы об оранжевый полушубок. Каневский брезгливо посторонился. Тогда бородач вытащил из кармана газету с крупной подписью: «Автогигант» — и начал, двигая усам, читать. Он читал заметку, озаглавленную: «Бригада землекопов Чепраксина борется за мировой рекорд».

В окне вагона не спеша поворачивалось пустынное белое поле, в белом поле мохнатая лошаденка бежала — перебирала ногами, не трогаясь с места, разляпистые дровни, в каких ездили и при Петре и при Иване Грозном, лениво шевелились за хвостом лошаденки. Конструкция дровней имела одну устано-

вку: как бы не опрокинуться. Конструкция дровней говорила об ухабах, о бездорожье, — на самой крутой обледенелой выбоине опрокинуть это плоское сооружение было бы так же трудно, как поставить на тарелке блин ребром.

Паровоз, задыхаясь, закричал тоскливо.

Неясные здания стали прорезываться в снегу.

Крестьянский табор зашёвелился и плотно надвинулся к площадке вагона.

Сосед Каневского сунул газету за борт полубубка. Борт был застегнут железными огромными крючками, — между двумя крючками легла газетная надпись: «В чем мы обогнали Америку».

Состав остановился.

Люди, казавшиеся Каневскому крестьянским кочующим табором, стали беззлобно толкаться и прыгать на утоптаный снег.

Это были вчерашние крестьяне, сегодняшние строители завода, землекопы, плотники.

Для Каневского день на Автогиганте начался с совещания у заместителя главного инженера, который улыбался стандартной чарующей улыбкой и назывался Леопольдом Людвиговичем.

Участники совещания говорили длинно и с подчеркнутым сознанием собственного достоинства. Нетрудно было понять причину этого. Все они были контрагентами завода, их связывала сложная сеть взаимоотношений. Сеть была соткана из разнородной ткани. Здесь сплетались нити солидарности, противоречий, взаимно причиненных неприятностей, задетых самолюбий.

После совещания у заместителя главинжа Каневский попал в рессорный цех. Это было неправильно. Начинать надо было не с рессорного. Но туда отправилась группа инженеров, участвовавшая в совещании. Среди них был и желтолицый.

Каневский надеялся услышать от них о работе завода. Но инженеры шли и неторопливо говорили о том, действительно ли Леопольд Людвигович чистокровный француз.

— По-моему, он чистокровный еврей.

— Но жил за границей. Это несомненно. Он работал в Бельгии.

В цехе инженеры рассматривали штабеля готовых рессор и обсуждали — правда ли, что Леопольд станет главинжем и что начальство недовольно Масловым.

На темных рессорах блестели похожие на серебряные монеты кружки: это оставил свой след аппарат Брюннеля, проверяющий прочность металла давлением в три тысячи килограммов.

— Ну, как, не переспорили вы Александра Альфредовича? — спросил Каневского желтолицый и сжал ему локоть.

Каневский не вдруг вспомнил, что Александром Альфредовичем звали Ротберга. Не дождавшись ответа, желтолицый добавил:

— Я вас еще в вагоне узнал.

И отошел с рассеянной улыбкой.

В конторе Каневский нашел начальника цеха. Начальник походил на рабочего паренька лет двадцати двух. Заграничный свитер цвета блеклых листьев мало мешал такому восприятию. Он сказал Каневскому, обрадовавшись, что тот инженер:

— Журналисты одолели. С вами можно короче.

Он повел Каневского по цеху — мимо ленточного конвейера, рассказал, как построен поток, показал отпускные печи, у которых знойно струился воздух, отсосную вентиляцию, автоматическую регулировку тепла в цехе. На вопрос Каневского, где он работал раньше, начальник цеха ответил:

— В Америке. В Детройте.

— Неужели у Форда?

— Нет, Форд — уже вчерашний день. Я работал у Шевролле.

— Вы инженер?

— Да. Но давайте о цехе. Мощность миллион пятьсот тысяч рессор в год.

Но начинать все-таки надо было не с рессорного.

Основное было в кузнице и в литейном. Кузница номер один, кузница номер два, цех серого чугуна, цех ковкого чугуна, цех цветных металлов. Каждый из этих цехов представлял собою целый завод. Не считая механо-сборочного. Каждый из них был комбинатом цехов, которые в свою очередь делились на крыло «А», крыло «Б», отдел падающих молотов, отдел паровых молотов, отдел прессов... Каневский устал в первый же день, потеряв представление о пройденных километрах.

В литейном он видел вагранки толщиной с колонну Исаакиевского собора. Он видел серую, еще не подвижную ленту конвейера и рабочего, обучавшего формовке девушку в юнгштурмовке. С потолка на них сыпался золотой дождь, — наверху заканчивалась сварка монорельса.

Не оглушая, ложились в просторах здания — недовольный крик сирены, свист, шипение, гудки, стук. С пуском конвейера из этих звучаний — и новых, еще не рожденных в цехе — должен был вырасти ритм литейных работ. Тот ритм, который научит формовщика в определенные моменты нажимать рычаг машины и ставить опоку на конвейер.

Каневский осматривал монорельс. Шел на шихтовый двор. Там торчали подходящие для сиденья тумбочки. Он, отдыхая, разглядывал их: тумбочки оказывались фундаментами для бункеров. Отдохнув, он снова шел в цех.

Встретив Филиппова, старшего инженера цеха, он сказал:

— У вас ведь нет еще ни бункеров, ни мостового крана?

Филиппов махнул рукой:

— Мост пришел, а тележек к нему нет. Магнитная шайба и грейфер получены из-за границы, а использовать их до сих пор не можем.

— Значит, загрузка кокса и чугуна пойдет пока вручную?

— Ясно. Много неполадок. Столько, что иногда...

Он развел руками.

Каневский ждал, что он закончит: «руки опускаются».

— Иногда эти неполадки представляются каким-то колючим частоколом. Вот ощерился и не пускает нас дальше. Такой частокол можно взять только штурмом. И мы штурмуем.

— Но ведь мостовой кран не ваш завод сделает?

— Так ведь и штурм идет не только на нашем заводе... В штурмовых колоннах и Наркомтяжпром шагает.

— Но факт остается фактом. Мостового крана нет, шихтовый двор не готов.

— А кто же отрицает факты? Спор может идти только из-за оценки фактов. Из-за выводов.

«Партийный, — подумал Каневский, — из породы речистых».

Пометив у себя в блокноте: «Шихтовый двор не оборудован, внутрицеховой транспорт не налажен, монорельс не готов, тележки к мостовому крану не получены», он стал пробираться к выходу.

В подъездном крыле цеха стоял товарный состав.

Возле состава лежали штабеля чугунных чушек с табличкой на палке: «Чугун № 0».

Кругом земля была взъерошена. Обрывки железа,

обломки, доски покрывали ее. Проход был перерезан рвом.

— Пойдите, я вам доску кину, — сказал человек, согнувшийся над чугуном. — Или пройдите вон там, через столовую.

В столовой происходило какое-то совещание. Женщина в красной повязке говорила:

— Бытовые условия. Вот какие бытовые условия. В литейном идет литье, а воды в цеху нет. Рабочие снег едят, товарищи. Скажу про раздевалку: цельная трепанация языком, а дела — чуть.

Каневский, прикрывая за собой дверь, подумал: «Зашли бы вы сюда, товарищ Филиппов, вы бы услышали неплохую иллюстрацию к вашему оптимизму».

Выйдя, он оглянулся на литейный.

Цех был — красавец. Стекло, железо. Только вокруг дверей — кирпичная белая облицовка. Солнце дробилось по стеклу радугой.

Кузница номер один оказалась таким же дворцом из стекла.

В ней ровно и сыто рычали печи Роквелла.

Своим дыханием они, как ножом, резали морозный воздух цеха. И воздух был слоеный: толстые ломти мороза, полоски банной жары.

У автоматического молота американец-кузнец кричал на русского парня-молотобойца. Молотобоец, не понимая английских ругательств, улыбался виновато.

Американца улыбка сердила. Выхватив у молотобойца клещи, он повернул кусок раскаленного железа и начал мять его, как розовый пряник, оглушительными ударами молота. Он нажимал ногою рычаг, и молот падал, обминая у железа румяный бок.

— Так-то и я могу, — сказал парень, смеясь.

Откуда-то из темноты послышались вздохи:

— Э-э... о-ах.

Кругом автокары шелестели листами железа, заменяющими им кузова.

Но их нехватало.

Негромкое: «Э-э... о-ах» росло. Выросло в «еще раз». Из темноты вылепились бороды, плечи, на плечах — белые петли тросов.

Тащили вручную тяжелые подушки из дубовых брусьев для вновь монтируемых молотов.

И «Дубинушка», рожденная в волжских просторах, вытесненная оттуда буксирами, умирала здесь — у американских молотов и печей Роквелла.

Пожилой человек в разбитых очках выверял пластинкой-«щупом» пригонку частей молота — саублака и клиньев.

Поглядев на блокнот Каневского, он проговорил:

— Вот тут будет механический опрыскиватель моей системы. У американцев этого нет. Опрыскиватель охлаждает штамп, ускоряет процесс работы. Моя фамилия Белинцев. Когда будете писать в газету...

— Почему вы думаете, что я буду писать?

— А разве вы не корреспондент? — разочарованно спросил Белинцев и отвернулся.

Проходя вдоль шеренги молотов, Каневский пригляделся: шаботы для молотов были изготовлены без должной тщательности. Пригонка их шла вручную, напильником. Переносных — фрезерных — и строгальных станков не было.

— На пригонку уходит восемьдесят процентов времени, отведенного на монтаж, — сказал наладчик из Оргаметалла.

— Стало быть, в срок не удастся смонтировать все агрегаты?

— Все время план монтажа выполняем до срока.

В механо-сборочный цех Каневский пришел злой от усталости.

Здесь импортные станки были смонтированы на девяносто процентов. И только на немногих висели плакаты:

САЛОВ! Я СТОЮ, НЕТ РЕМНЕЙ.
НЕТ ПОДВОДКИ, СУСЛОВА!

Некоторые станки оказались с темпераментом. Они говорили более энергичным языком:

ПОЗОР!! КОГДА Я ПОЛУЧУ ПОДВОДКУ, СУСЛОВА,
ПОЗОР!!!

Салов и Суслова, очевидно, ведали снабжением ремнями и подводкой тока.

Пущенные станки работали с перебоями. Нехватало заготовок, не был проверен режим станков. С чертежами не ладилось, на одну и ту же деталь существовало несколько чертежей и все разные. Наладив производство детали, наладчик сдавал ее в контрольный отдел, а там ее браковали. Наладчик и контрольный отдел руководствовались различными чертежами.

Дело объяснялось тем, что у американской фирмы с усовершенствованием или упрощением детали менялся ее чертеж, и Автогигант оказался снабженным сразу несколькими чертежами одной и той же детали.

Были и другие неполадки. Станки были заказаны в Америке, а приспособления к станкам не подошли, их пришлось подгонять фальцеванием.

Из механо-сборочного нужно было идти к ТЭЦ — к теплоэлектроцентрали.

Но блокнот Каневского был уже весь исписан. Ноги Каневского деревянели, он уныло думал о том, что ему придется еще искать столовую.

Блокнот был весь исписан. Некомплектность частей оборудования, отставание в сроках на отдельных

участках, недобросовестность поставщиков, ошибки, недосмотры, промахи — все это лепилось густо, блокнота нехватило, и однако сквозь завесу этих недочетов все яснее вставал перед ним замечательный завод, вершина новейшей техники.

Закатное солнце дробилось на стеклянных корпусах завода, они лежали в снегу, сверкая, — великолепные кристаллы человеческой воли.

Каневский шел искать столовую, его посылали из конца в конец, — столовых было несколько на территории строительства, — он шел и думал о невиданном для него, инженера.

Он наткнулся на мысль, которая его обрадовала:
«А кадры, кадры?»

Кадры, вековая отсталость страны. Население, девяносто процентов которого не применяет носового платка.

Но знает ли он страну — сегодня?

Из сумеречной дали она надвигалась на него, огромная, заснеженная.

В этой огромной стране, в которой еще не истлели петли проселочных дорог и по ухабам ныряют разляпистые дровни времен Ивана Грозного, вновь и вновь возникают кристаллы людской воли — заводы, шахты, промыслы.

«Но ведь это и есть то, о чем — в других выражениях — говорил речистый партиец из литейного. У меня нет метода, — думал Каневский, — у меня нет метода для оценки всего этого, вот почему я обречен на раздумье там, где любой рабочий...»

Повстречалась колонна молодежи. Она шла по дороге с факелами, с шумом.

Правофланговый в первой шеренге крикнул кому-то:

— Андреев, идем с нами!

— Куда?

— Штурмовая ночь... в литейном...

Ветер рванул голос правофлангового и отнес в поле.

Языки факелов, дымя, метались в сумерках.

«...Где для любого рабочего все ясно», — продолжал думать Каневский.

Он вдруг увидел себя среди снега, шагающего по полю в городском пальто, слегка сторбившегося, одинокого, как всегда. Ему стало жаль себя. Если бы он был здесь своим, возможно и ему крикнули б: «Идем с нами!»

Невыносимо видеть себя зрителем.

Есть действия, по отношению к которым надо занять место участника или врага.

Зрителем же быть тяжелее всего.

Столовая, обязанная накормить Каневского, находилась в клубе соцгорода, в двух километрах от завода.

Столовая оказалась просторной залой, украшенной пальмами — подарком Батума.

К столу Каневского дружелюбно подошел Филиппов из литейного. С ним был Верхолетов, начальник цеха серого чугуна. Верхолетова Каневский видел на производстве и сейчас не узнал: на нем была щегольская бобриковая куртка и заграничная плюшевая шляпа. И походил он сейчас — бритым лицом — на актера, а не на рабочего.

Верхолетов был до революции матросом. Потом попал в плен. Из плена возвращался инвалидом. На Урале провел годы гражданской войны и стал коммунистом. Лечился, выздоровел. Потом — вуз, заграничная командировка, работа инженера.

Каневский о таких биографиях читал только в газетах, и казались они ему чем-то надуманным, как рассказы в старых народнических журналах.

Но перед ним сидел живой человек с веселыми

серыми глазами, с актерским бритым ртом. Это был простой человек. Надев плюшевую шляпу, он, видимо, еще не забыл об ее эlegantности, и это прибавляло какую-то долю веселья в его серые глаза.

Каневский стал расспрашивать Верхолетова об инженерах завода.

Начальник рессорного цеха, практикант у Шевролле, детройтовец, оказался недавним слесарем. Ему исполнилось двадцать пять лет.

Начальником цеха ковкого чугуна был человек с трудно запоминающейся фамилией. Сам же он запомнился Каневскому нанесенной обидой: этот латыш с рокошущим басом отказался говорить с ним — за недосугом. Начальник цеха ковкого чугуна в тринадцатом году был, по словам Верхолетова, пастухом в Курляндии, в пятнадцатом — латышским стрелком, в семнадцатом стоял на часах в Смольном у кабинета Ленина. Вуз окончил в двадцать восьмом году.

Старший инженер в прессовом был Питеров, не понравившийся Каневскому длинными кудрями поэта. Оказалось, что волосами Питеров прикрывал то место, где раньше были ушные раковины. Уши были отрублены белогвардейцами.

— Кадры, — сказал Верхолетов, весело оглядываясь вокруг. — Ну, и старые инженеры... Мы с ними хорошо работаем. Я пошел: в литейном штурмовая ночь.

— Шляпу-то дома оставь! — засмеялся Филиппов.

Они ушли, громко переключаясь с посетителями столовой и шутливо толкая друг друга.

Кадры. Страна, которую ему — Каневскому — не узнать сегодня.

В широкое окно была видна деревушка Монастырская. Только забор отделял ее от клуба. Извилины дороги темнела в ней между голубыми шапками за-

сыпанных снегом изб. Огни были потушены, деревушка уже спала.

Вплотную придвинувшись к деревне, глядел на нее своими немигающими освещенными окнами клуб социалистического города.

24. ВОЗВРАЩЕНИЕ КАНЕВСКОГО

Открытие завода было отмечено конференцией. После открытия — вечером — для гостей были поданы к клубу автобусы.

Соседом Каневского в автобусе оказался Мотыжный, премированный поездкой ударник из Сталинграда. В течение трех дней Каневский встречал его в столовой, в цехах, в конторе.

— Большой завод, — сказал Мотыжный, кутаясь в бараний обширный тулуп.

Он вкусно покашлял, помянул про пиво, которым потчевали гостей, расправил усы. Усы были огромные, воинственные. И сам он, видимо, был спокойный и мужественный человек.

— Ну-ко-сь, бери половину тулука, — предложил он Каневскому. — Бери, чудак, замерзнешь!

И действительно, как только автобус затрясся в беге, — брезентовые полотнища на нем стали разлетаться, хлопая; в щели между ними заглянула маленькая — с двугривенный — замерзшая луна; неумолимо засвистал ветер.

И Каневский натянул на свое пальто баранью полу соседа.

— Вот какого рода вещь произошла, — удивляясь, произнес Мотыжный. — Своего брата на заводе я так и не нашел. А знаю: тут он, на Автогиганте, и ударник то же самое. В конторе спрашивал, в общежитии, в милиции, в коммунальном отделе — нет, не нашел! Большой завод.

— Бестолковщина большая.

— У кого это?

— Ну, вообще. Как это так не указать, где данный рабочий живет. Или — в каком цеху работает.

— Не наладили. Ну, наладят.

Мотыжный был доволен поездкой, заводом, оказанным гостям приемом. То, что он уехал, не повидав брата, не сбило его настроения. Он не соглашался расценивать это как неудачу.

— Вот какой завод — брат потерялся! А справки наладят по прошествии времени. Я так полагаю.

Мотыжный до возвращения в Сталинград должен был заехать в Москву. Это входило в премию.

Каневский, чувствуя к нему благодарность за тулуп, предложил ехать вместе, в одном вагоне.

— Свободная вещь, — согласился Мотыжный, расправляя усы.

Но у кассы он узнал, что Каневский поедет в мягком вагоне.

— Вот и придется попрощаться. Я — в жестком. Ну, ничего, счастливо. Ваш завод я знаю, тоже хороший завод.

В купе два тихих субъекта вполголоса переговаривались, вороша на столике бумаги. На синих пиджаках у них блестели золоченые пуговицы. Они подымали лица над бумагами, шевелили губами, вычисляли что-то, шептали:

— Если фрахт брать по полторы копейки...

— И надо принять во внимание контрольные цифры по снижению себестоимости.

Каневский ходил по коридору. Пил чай у проводника. В полночь заснул на верхней полке.

Проснувшись, он услышал снизу шопот:

— Надо внести ряд промежуточных пунктов по погрузке. И, может быть, составить два варианта.

Каневский свесил голову вниз и поглядел на синие пиджаки с возмущением и неясным чувством зависти.

— Вы свет не собираетесь гасить?

— Сейчас, — покорно ответил голос снизу. — Ваня, придется завтра кончить.

Свет погас, шопот слышался еще минуты две и сразу сменился совершенно возмутительным храпом.

Каневский же спать теперь не мог.

Серые глаза Верхолетова. Питеров с обрубленными ушами. Филиппов. Латыш с мудреной фамилией из литейного цеха. Каневский не мог побороть странной симпатии к этим людям. Симпатия смешивалась с удивлением и недоверием к их знаниям, как специалистов.

Комсомольцы с факелами, Мотыжный, даже эти, синепиджачные, — встречи с этими людьми имели между собой какую-то связь.

Все это грозило новым ночным раздумьем и новыми неприятностями.

И — раздумье началось, но в нем Каневский наткнулся на еще не осознанное полностью чувство удовлетворения. Он его прятал от себя все эти дни, но теперь спрятать не удалось: удовлетворение было оттого, что он ни разу не вспомнил о Елене. Кроме того — Мефистофель был лишен слова.

Мороз обжигал.

Река, не успевшая замерзнуть, дымилась, как заганная лошадь.

Пар плыл над рекой, и деревья на берегу были белые и круглые, как клубы пара.

Отраженное в воде желтое солнце походило на покоробленную медь.

Было солнце и под солнцем туман, но небо было видно: туго-лиловое, грозное. И здания в двух ша-

гах казались отодвинутыми вдаль, замерзшими, призрачными.

Такой туман, и солнце, и призрачность близких предметов Каневский видел в Эрмитаже. Там висела старая картина: военачальник принимает парад. Шеренги войск затуманены. Солнце борется с туманом, кованые иглы его пробиваются к мерзлой земле, и трубы горнистов поблескивают в тумане, как далекие факелы.

Такие краски бывают только в России.

Скоро туман исчезнет, в чистом воздухе деревья будут позванивать серебряными ветками. Потом вплотную к крышам нальется малиновый закат. И дымы над трубами поплывут величаво, как седые бояре.

Вспомнив завод, Корнакова, Рилля, свою поездку на Автогигант, Каневский почувствовал ко всему этому вражду. Стройка, кирпичи, агрегаты, монтаж, прикованность ко всему этому миллионов людей — вот что, в сущности, мешало жить, видеть малиновый древний закат над Кремлем, иней на деревьях, слышать, как поет снег под ногой, и думать о своем.

Он рассердился: «Ну вот, начинается. Надо организовать себя. Какая чепуха, будто и закат зависит от эпохи!»

Но — скользнула мысль: «Зависит. Закат сам по себе не существует. Существует восприятие заката».

Душевная сумятица не способствует наслаждению природой. Душевная сумятица рождена эпохой. А физкультурники, лыжники там всякие... тот же самый Корнаков? Да у них ведь сумятицы-то нет. Еще бы: они в седле. У них все в порядке, все расставлено по местам: работа, досуг, физкультура, любовь, природа.

Вражда становилась сильней. Он спохватился: это опять проделки Мефистофеля.

...Свой завод после Автогиганта показался Канев-

скому провинциальным. Приземистые, хмуро стояли старые цехи. В проходе тулуп часового дышал скукой и кислой шерстью.

— Что это вы, недовольны поездкой? — спросил Корнаков.

Для приличия пришлось сказать несколько слов о гиганте.

Корнаков вынул бутерброд и, жуя, проговорил задумчиво:

— Вот это здорово..

Каневский постепенно разогрелся.

В конце концов, ведь это же факт: совсем новый тип завода. Там даже скверы, бульвары — кольцо бульваров будет прорезывать территорию завода. А аллеи! Аллеями, тополями будут простроены автомобильные пути к заводу и через завод.

Он засмеялся:

— И закат, если разобраться, — пожалуй, от этого не пострадает.

— Вот это здорово! — сказал Корнаков, не поняв, впрочем, про закат. — Значит, строим?

— Строим, — нерешительно ответил Каневский.

25. О ПУТАНИЦЕ ЧУВСТВ

К Талызину вернулась из Кисловодска семья. Поэтому квартира главинжа встретила Корнакова шумом. Дети прискакали в переднюю с воплем:

— Мы друзья с тобой до гроба! За одно или за оба?

Сергей знал, что это значит. Скажешь: «За одно» — отдерут за ухо. «За оба» — еще хуже. Драли на совесть. Отличительной чертой детей Талызина была воинственная насмешливость в сношениях с окружающим миром.

Жертвой насмешливости был и отец.

Заунывно, на оперный лад они пели ему:

- Кто там стоит под окошком
- С длинным рыжим бородом?
- Это я — Гугенота.
- Рыцарь, вам зовут в подземелье.
- Кого, мене? Чичас.

Песня странно подходила к Талызину. Прямой нос, рыжие усы щеткой, длинные волосы — перьями — над высокомерным лбом делали его похожим одновременно на старомодного учителя-народника и на рыцаря.

Рыцарь, вам зовут в подземелье...

Песня была настойчивая.

Талызин сердился иногда, ему становилось не в терпез, он скрывался в кабинет, куда никто не мог войти без спросу, — этого добилась его жена, Евгения Евгеньевна, мягкая, уютная женщина, «антитеза Талызина», — смеялась она.

— Спасайся сюда, — выглянул из кабинета главинж, услышав голос Корнакова.

Сергей, отбиваясь от цепкого Володьки, не потерявшего надежды добраться до его уха, прошел к Талызину.

— Рассказывай, — сказал Талызин.

Но рассказывать Корнакову было трудно. Он помолчал, вертя крышку от талызинской чернильницы.

— Никак захлестнуло чем-то?

Вопрос показался Корнакову равнодушным.

— Понимаешь, совета я хотел у тебя... да не знаю...

— Чего там — не знаю. Надо знать. Парень ты уже большой, пора знать, — бездумно говорил Талызин, набивая трубку табаком. — Пора знать, как и что.

— Да нет, ерунда! — вдруг покраснел Сергей. — Дела семейные. Сыграем лучше в шахматы.

— И то дело. Сыграем.

Талызин, вцепившись рукой в усы, начал думать над очередным ходом.

— Вот какое дело, — с натугой произнес Сергей, — у ней там свое — какие-то Стаханские, пижоны с бородками. На комнатных собачек похожи, дрянь. С Миловановым она каким-то образом оказалась знакомой. Через его сестру. Про Милованова, нормировщика, знаешь? Она мне мешала определенно.

— Ясно.

— А я ее люблю. И вот она ушла.

Талызин отодвинул шахматы.

— Ты хочешь совета?

— Да.

— Так вот: две недели ни с кем об этом не говори. И со мной тоже.

Провожая Корнакова, Талызин пощупал его плечи:

— Ничего, вон плечи какие! Выдержишь.

На улице Сергей почувствовал досаду. Вот и вся беседа со старшим товарищем. Большого Талызин не мог придумать!

Вчерашний вечер встал перед ним в своей будничной тревожности. Самое письмо Лиды было будничным.

В синем конверте с надписью: «Сереже» — лежала узенькая полоска бумаги. Почерк Лиды — прямой, детский, неверный:

«Я ухожу к Стаханскому. Я так решила. Мы с тобой должны разойтись».

Вот — она решила первая.

До сих пор он думал о Лиде урывками. Она была неумелая во всем, беспомощная, быстрая на слезы. Это было тяжело. Тяжело было думать, что правильнее было бы порвать с ней.

Когда опасность стала серьезной, она сразу уга-

дала его намерения. И ее ресницы замигали горестно.

Она подошла к Сергею и прижалась к его груди. Знакомое тепло шло от нее, и Сергей отстранился, зная, что этим ее оскорбляет.

После этого было примирение и новые ссоры.

А вчера — она решила первая.

— Ну, и прекрасно, — сказал Сергей, прочитав записку и ни о чем не думая.

Он вспомнил, что сильно устал за день, и лег на кровать. Но сейчас же встал. Неясная удовлетворенность от сознания, что вот он спокоен, равнодушен, исчезла, еще не оформившись полностью.

— И прекрасно, — повторил Сергей. — Она думает, что за ней побегут сейчас к Стаханскому. Но у него есть другие дела. Он пойдет... Ну да, он давно не был у Талызина.

После этого у него появилась странная внимательность к окружающему.

На улице он встретил черноволосую женщину в красном манто. Женщина двигалась надменно. Глядя в упор на Сергея, она сказала по-французски своему спутнику:

— Monsieur Loran ne trouvez Vous pas, que le monde dans la Russie devient maintenant tout à fait de l'autre genre?

И Сергей вдруг с необычной остротой вспомнил, что женщину эту он уже видел, — осенью. Она шла тогда по набережной. Рядом с ней плясала маленькая обезьянка, показывая бесстыжий розовый зад. Обезьянка схватила Сергея за полу пальто серыми жуткими пальцами. Проходившие мимо парни грохнули восторженным хохотом. Обезьянка испуганно взметнулась на плечо своей хозяйки и оглядела оттуда набережную темным, недоброжелательным взглядом.

По обезьянке Корнаков тогда же догадался — дама была из посольства.

И теперь он внимательно посмотрел вслед красной женщине и ее спутнику.

С таким же вниманием он рассматривал людей у телефона-автомата, откуда он должен был созвониться с Тальзиным. Там толпились две веселых девчонки, полупьяный мрачный человек, замученная женщина с узлом. Сергей смотрел на пьяницу: у того щеки отвисли синими мешками; у алкоголиков почки становятся бесформенными. Где-то на плакате были старательно разрисованы эти почки — рубчатые, ожирелые, с розовыми червячками кровеносных сосудов. Девчонки хихикали. Сергей их пожалел, — они, должно быть, портят свою жизнь, а она могла бы быть хорошей, — они портят жизнь, засоряя ее безлюбными связями, помадой, озорством. Впрочем, возможно, что все это только кажется. Возможно, что думать так — было ошибкой. Ошибка — вот найденное наконец слово.

Ошибкой были его отношения с Лидой. Тогда зачем же мучаться? Но он и не мучался. Он был совсем спокоен.

В трамвае он слушал спор закатанной в пухлые платки рыхлой старухи с парнем в брезентовом плаще, надетом поверх пальто. У парня был длинный насмешливый нос. Старуха спрашивала:

— Ты какой губернии-то? Смагаленской, небось?

Она упирала на «га» с язвительным намеком.

— Я? Я — Советской эсесер!

— Несклепистый! Я — про губернию.

— А ты склепай.

— Не склепаешь, шарики растерял по городу. Разуйся, по пальцам считать будем.

— Ты б, бабка, умылась сперва, ну тогда мы с тобой и потолковали б.

— Смагаленской!

Сергей вслушивался в эту трамвайную чепуху,

приглядывался к пассажирам, рассматривал на вагонных стеклах морозные линии, погубленные людским дыханием.

И вдруг понял: этим он хочет заслониться от прошедшего.

Обратный путь от Талызина был в том же трамвае. Движение в городе по-вечернему ослабело, — вагон раскачивался в беге, вздрагивал, подвывал на поворотах. Память Сергея цеплялась за незначительные события дня.

У Талызина он не так, как нужно, начал разговор. Надо было сказать: «У меня жена сбежала. Драма в пяти частях». И — засмеяться.

В конце концов, это, должно быть, действительно смешно. Ресницы Лиды в горестной влаге встали перед Сергеем, и он почувствовал свое бессилие. Путаница чувств пришла к нему впервые.

Гулкий мороз в коробке сталелитейного звенел от стука топоров.

Топоров было два, и стучали они под крышей, в фонаре.

Внизу стоял Локтев и перекликался с Леонардо.

Скрипел блок.

Леонардо сидел под крышей, на стропилах, и принимал подаваемые блоком брусья и доски.

Напротив него — в паре с ним — сидел желтобородый плотник с рязанским, курносом лицом.

Леонардо подхватил брус на лету и занес один его конец бородачу. Потом быстро обровнял топором свою половину бруса, подгоняя его к кромке рамы, и закричал:

— Давай, давай!

— Погоди маленько.

Сосед Леонардо, совестясь, развесил вниз желтую свою бороду. Но внизу, на перекладине, топора не было.

— Топоришко-то мой, стало быть, свалился.

Он крихтел от конфуза и избегал глядеть на гримасы Леонардо.

Через минуту бородач оказался внизу, рядом с Локтевым. Ухмыляясь и крутя головой, он сказал:

— Поработай-ка с ним. Лихой парень.

— Давай! — крикнул Леонардо, и бородач, захватив топор, побежал трусцой.

Каневский вошел в сталелитейный в волнении. Проходя мимо помещения, предназначенного для сушильных печей, он услышал раздумчивый голос:

— Сталелитейный-то пустим во-время. А водозабор... там Каневский. Сомневаюсь я...

Каневский ускорил шаг. Как от удара. И не оглянулся на говорившего. А голос был знакомый.

Он с недоумением увидел рядом с собой смеющееся лицо Локтева, задранное кверху.

Каневский взглянул: под крышей сидел Леонардо.

— Разве итальянец теперь здесь работает?

— По утрам. Сам вызвался. А вечером попрежнему в деревообделке. Ну, он вроде инструктора у нас по дереву — в порядке общественной работы.

Локтев крикнул вверх:

— Эй, Леонардо, кота слопал?

— Эй, Локтев, к чорту!

— Не любит. Взяли его в переделку. Пустили басню: высчитал он, что по нагрузке мяса ему не хватает. Поймал кота и зажарил. Вранье, конечно дело. А девчата от него теперь врассыпную... Леонардо, страдаешь?

— Эй, Локтев, к чорту!

Каневский попробовал улыбнуться. Улыбка вышла странной. Он сам это почувствовал. Он не слышал перебранки Локтева с Леонардо. Пуск сталелитейного будет зависеть от импортного кранового оборудования. А водозабор строится из собственных

материалов; причин для задержек здесь меньше. Почему же тогда возникают сомнения? Только потому, что там Каневский? Обида была незаслуженной.

Пытаясь успокоиться, Каневский обошел весь цех и заглянул в помещение машинной.

Там, распростершись на полу, лежал Корнаков. Перед ним, выкинув в сторону колена воздухопровода, стояла турбина Егеря.

— Опять дымит подшипник? — спросил Каневский.

— Опять.

Корнаков продолжал лежать на животе и всматриваться во внутренности турбины.

Каневский вспомнил: электроэнергия сюда, в машинное отделение, идет с подстанции номер два. Для сталелитейного была прибавлена к распределительному щиту электроподстанции новая плита. Теперь рубильник на бывшей великокняжеской плите поднят, ток включен; инженер Корнаков испытывает турбину Егеря.

Каневскому наконец удалось засмеяться. Это было необходимо, чтобы пренебречь словами, услышанными у сушильных печей.

Корнаков не обернулся на его смех.

Тогда Каневский сказал медленно, вытаскивая папиросу и независимо гремя спичками:

— Вы мне напомнили молящихся в католическом храме.

Корнаков, бормоча что-то, подтянулся на животе поближе к турбине.

— Так распростираются перед алтарем. В языческом мире — перед жертвенником.

Каневский затыкнулся дымом папиросы.

— Вы распростерты перед новым алтарем. Вместо фимиама перед вами дымится подшипник. Вы лежите в прахе перед новым божеством — социалистической

индустрией. Не приносят ли снова люди себя в жертву богу, то есть отвлеченной идее, овладевшей ими?

— Вот сволочь! — воскликнул Корнаков. — Я про подшпишник. Должно быть, есть перекося в муфтах.

— Вы счастливый человек, Сергей Иванович. У вас нет сомнений. Вам не нужно сознание личной независимости. Личная жизнь у вас сведена к минимуму установленных природой потребностей.

— Перекося в муфтах, ясно. Но для глаза совсем незаметно, вот черт! Умный вы человек, Георгий Иосифович, а мысли у вас... Что вы там про богов? Чепуха какая-то. Извините, меня этот подшпишник злит.

— Сознание личной независимости нужно человеку, чтобы забыть о своем ничтожестве.

— С виду глубокомысленно, а по существу — глупо. Охота вам...

— Это — не я. Это — Мефистофель. Он поглупел в нашу эпоху. Вы правы.

— Ну, причина найдена! — вскочил Корнаков с пола, отряхивая колена. — Перекося. Пойду искать Талызина.

В дверях машинной он обернулся к Каневскому.

— Как вы сказали насчет моей личной жизни: сведена к минимуму установленных природой потребностей? Следует как будто обидеться. Впрочем, говорят, философы близоруки.

26. РАССКАЗ О ПЕРЦОВЕ

Что такое искренность?

Интересуются ли ею психологи? Что говорят о ней писатели?

Они говорят: «Я был искренно возмущен», «искренняя доброта виднелась в ее взгляде».

Это — формулы с нерасшифрованным неизвест-

ным. Или это вещи, условно известные, считающиеся известными по ошибке.

А если искренность — не однотонное чувство? Если это аккорд, созвучие ряда ощущений?

И иногда одна нота фальшивит, другие спорят с ней, — и аккорд надорван диссонансом.

Имеются любители диссонансов.

Если есть диалектика чувства, то самое диалектическое из них — искренность.

Человек предан целому — и думает о своей судьбе на путях целого.

Человек поглощен борьбой за коллектив — и думает о своей роли, о своем месте в этой борьбе.

Целое улеглось кругом — исторически ограничено — в определенные формы, ступенчатые, лестничные, — он думает о том, каковы будут его шаги по этой лестнице.

Кто он — индивидуалист, коллективист?

Все зависит от условий.

Журналист, посетивший корабль, видит матроса, который повышает свою квалификацию, стремясь стать со временем капитаном. Журналист пишет о матросе с одобрением, и миллионы читателей санкционируют эту оценку.

Бухгалтер из кожи вон лезет, чтобы занять место главбуха, — писатель отмечает это с иронией и ему хочется дать бухгалтеру гоголевскую фамилию.

А что сказать о человеке, который готов идти на смерть за интересы коллектива, причем самый коллектив остается только фоном, коллектив где-то кругом, а чаще всего внизу, — человек же думает о себе, о своей роли, о своей личности, о своей судьбе?

Проходят дни.

Дни человека тускнеют, они не взрываются пулеметной лентой, они шуршат конвейером, человек думает: хорошо, что ему дали автомобиль, не нужно

ездить в трамвае. Не в том дело, что в трамвае тесно, — у него еще крепкие мускулы и ему не вреден моцион. Но автомобиль — это прерогатива, это — отличие, это — признание твоей значительности. Он думает о том, что старые товарищи его обгоняют, что товарищ Фишман — тоже бывший эсер — назначен членом коллегии.

Человека посылают на завод, он выступает, сумерки многоголового зала его гипнотизируют. Коллектив мощно ударяет по клавишам, гремит аккорд, аккорд искренней преданности интересам целого.

Человек выходит из заводского клуба, он вздрагивает от холода и пережитого волнения, синяя ночь, гулкая мостовая, стук собственных шагов, шипение автомобильных шин возвращают его к мыслям о себе.

Человека можно назвать Перцовым. Андреем Перцовым. Это приблизительно то имя, которое он носит в жизни.

Перцов долго брился. Приятно бриться, ухаживать за собой. Щека вылезала из пены помолодевшей, зеркало крало тонкие морщинки, все было хорошо.

На работу он не спешил. Работа его сегодня не привлекала.

Он не вспоминал тех лет, когда на общественной лестнице он занимал другую ступеньку. Тогда он летел на работу небритым, бросив грязную посуду на столе, защелкивая на ходу брезентовый портфель и шутя по дороге с шофером. Шоферы его любили — за простоту. Он тоже любил шоферов. Он любил рабочих. Он любил говорить: «Мой завод».

Теперь Перцов не торопится.

Он моет посуду, потом идет в кооператив. Иногда — в прачешную, относит грязное белье. Просматривает газету. И уже после этого — на службу.

Там все нервирует. Дело идет не так, как следует.

Работать приходится в общей комнате, уставленной одинаковыми столами, а он привык к отдельному кабинету, пусть даже наполненному табачным дымом и спорами. Сейчас он сидит рядом с беспартийным инженером Дорофеевым. У Дорофеева блеклые усики, бледный взгляд и невозможные интонации: «Поимейте в виду», «не откажите в любезности сообщить». А с другого бока пыхтит Енченко. Он все что-то пишет и пыхтит; пыхтит и пишет:

Перцов смотрит в окно на старинный дом, грузно опершийся колоннами о землю, и думает о том, что нужно будет сходить в распределитель, — взять на штаны по ордеру.

Иногда — как будто кто-то разглядит морщины в душе, — вспомнится работа на фронте, завод. Это ободряет, не надолго.

Не думал он, что все кончится сидением в должности сотрудника X-центра. Оппозиция... Не рассчитал. Да и рассчитывать не хотел. Вот Итин, тот рассчитал: «Соотношение сил». Какая стратегия приспособленчества!

В окно видно, как скучно начинает падать снег.

На карнизах старинного дома пухнут белые рубцы.

Не взять ли портфель, кивнув небрежно соседу: «Я — в Главпромцветмет...»

В Перцове всегда было развито чувство своей исключительности. Не то чтобы он думал об этом много, — он просто был пропитан этим чувством, как ткань бывает пропитана влагой. Он всегда торопился себя проявить. И в то же время знал полосу апатии.

В девятнадцатом году, разочаровавшись в своей партии, он решил предать ее суду. Это было в прифронтовом городе. Он тогда не боялся ненависти вчерашних друзей. Ему нужно было признание своей силы.

Но накануне суда он стал сомневаться в себе. Он встал ночью и, обессиленный, сел на постели. Ему вспомнилось лицо седого Михаила Николаевича, его учителя по партии. Сквозь слезы он начал разглядывать свой револьвер.

Его жена, Ксения, сухая мускулистая женщина, проснувшись, спросила сердито:

— Не спишь? Тоже — сильным человеком себя считает!

Перцов не сразу почувствовал этот удар.

Мысль о своей заброшенности и неотвратимости завтрашнего дня потрясла его.

Он сказал, вздрагивая:

— Вот ты увидишь...

Одевшись, он прицепил револьвер и вышел. Невысокая его фигура промаячила на четырехугольнике раскрывшейся двери — коридор был слабо освещен, коридор скверной гостиницы — и исчезла.

От его небольшого роста, от думы о револьвере на его мальчишеском животе Ксении стало жаль себя и его. Им не совсем верили. Были ли они действительно искренни до конца?

Обнаженный ответ на этот вопрос был невозможен. Он разрушил бы жизнь.

Убеждение Перцова в необходимости суда над партией, к которой он полгода назад принадлежал, было сильно, как инстинкт самосохранения.

«Это не трусость. Это борьба за жизнь, — думал Перцов, — за высшее право, которое дано человеку, за право бороться».

Это не трусость. Если бы нужно было, он заплатил бы за право борьбы своей смертью.

Борьба только что началась, друзей кругом не было, росла пустота. Готовность к смерти становилась яснее.

Искренен ли человек, готовый идти на смерть, чтобы утвердить свою личность? Если у него при этом неясно мелькает мысль: уцелев, сыграть крупную роль в организации страны? Мысль не о чинах, не о теплом месте, а может быть, об опасностях, о риске, о военной обстановке, напряженной, как струна, о своей исключительной роли во всем этом, о признании своих заслуг коллективом. Причем коллектив — внизу. Или — рядом; коллектив как фон.

Искренность человека — не однотонное чувство, это аккорд.

Аккорд потряс Перцова перед судом, когда он вышел с собрания новых соратников, выразивших ему доверие.

Аккорд гремел, коллектив уверенно ударил по клавишам. И коллектив был не внизу, он был вокруг, и наверху, и всюду.

И только мороз в переулке, хмурый окрик патруля, синяя ночь и собственный одинокий шаг вернули Перцова к мысли о себе.

Судебный процесс не дал ему чувства своей силы и правоты.

Он говорил на суде слабым голосом, из зала крикнули требовательно: «Громче!» Теряясь, он произнес притотовленные за ночь фразы, но и в них сбивался.

Враги — вчерашние друзья — сидели справа, двухрядной шеренгой. Их лидер — грузный, львиногоривый и похожий на Троцкого — сказал, подымая красный букет, брошенный ему из зала иступленной женщиной в довоенной шляпке:

— Это не суд. Это спор двух партий. Судьей будет история!

После него вскочил его сосед, худенький, сжигавший себя непрерывной самоубийственной экзальтацией:

— Мы не признаем этого суда! Здесь не может быть беспристрастия!

Председательствовавший, Рилль, поднял предостерегающе руку.

— Да, да! — закричал высоким голосом подсудимый. — Вы пристрастны, вы готовите расправу со своими врагами!

Предостерегающая ладонь вывела его из себя, он кричал самозабвенно, зал, полный народа, смутно темнел перед ним и понуждал к театральным интонациям.

Густой голос Рилля покрыл его крик.

— Правильно! — сказал Рилль, ударив ладонью о красное сукно стола, и защитники удивленно повернули к нему головы. — Правильно! — повторил Рилль. — Мы не можем быть беспристрастными. Мы будем пристрастны к врагам рабочего класса!

Его голос гудел ровно на весь зал.

Перцову стало скучно от этого голоса. Он на миг почувствовал себя смертельно уставшим и поглядел на Рилля, как измотавшийся в долгом пути пешеход смотрит на бодрого всадника.

«Человек может сделать неверный шаг и встретить отпор коллектива. Ощущение в себе обманчивой силы толкнет его на борьбу с целым. Обособленность даст ему ложное чувство своей исключительности. Он разглядит в конкретном рабочем Иванове непопранность в одежде, отяжеленный, не тренированный книгой интеллект. Он привыкнет думать о рабочих: «они». Конкретный крестьянин вызовет в нем брезгливость. Эти обрывки он обобщит, из обломков своих восприятий он незаметно для себя начнет строить систему изолированного высокомерия, скрепляя ее клейким цементом личных обид. Может быть, таким был путь Савинкова. Он тоже считал себя

революционером. О Савинкове забыли. Между тем он не одинок. Он был только высшим и старомодно-трагическим выражением того типа, который еще не умер, который еще живет среди нас, ибо еще сравнительно недавно стали отмирать предпосылки, его породившие. Другим примером носителя сокровенной, сокрытой идеи своей исключительности, — а отсюда привычки смотреть на коллектив сверху вниз — был Троцкий. О нем тоже начали забывать с тех пор, как он вступил в ряды пестрой и бессильной армии индивидуалистов. Он, конечно, не хочет видеть рядом с собою тень Савинкова, он презрительно сторонится от доспехов политических авантюристов. И это в порядке вещей. Ибо взаимное непризнание, пестрота взглядов, идейная обособленность, потребность в собственной свите — это и есть неписаная философская установка армии, ряды которой он пополнил».

Она рассуждала вчера — эта ученая крыса, разглядывая Перцова, как препарат. Имела ли она в виду его недавнюю принадлежность к оппозиции? Впрочем, встречу с ней можно пропустить мимо. Пусть сидит себе в своем научно-исследовательском институте, одном из многих, разросшихся грибами на теле наркоматов.

Слова Шендеровой, однако, были очень неприятны. Неприятно было вспомнить ее лицо — странно большеглазое, — глаза смотрели влажно, не митая, — курносое лицо ее было похоже одновременно на цветок «анютины глазки» и на мопса. Все-таки противно, когда женщина ударяется в ученость.

У него был сухой охотничий взгляд, — Ротберг глядел, прицеливаясь; он ловил взгляд Перцова нетерпеливо и настороженно.

Когда Перцов крикнул: «Вы с ума сошли!» — Ротберг сразу стал пьяным. Он понес чепуху о значении

красного цвета в своей жизни, о своей болезненной страсти к кровавым закатам, вспомнил французского поэта:

— «Вечера, распятые на горизонте». Я, кажется, совсем пьян, Андрей Николаевич.

Перцов враждебно молчал и ходил по комнате, глубоко засунув руки в карманы.

— По последней? — спросил Ротберг, взявшись за бутылку.

Перцов молчал.

Ротберг забеспокоился; это было видно по его глазам. Он заговорил о водке, о том, как в тюрьмах уголовные лечили триппер медяками, настоянными на спирту.

— Вы ведь в старое время сидели в тюрьме, Андрей Николаевич?

Он знал, что Перцов любит вспомнить свою юность. А в юности у него самое яркое — тюрьма и ссылка.

Перцов, круто повернувшись, в упор поглядел на Ротберга. Тот стал прощаться. Прощаясь, раскис. Кажется, на самом деле он был пьян.

Впрочем, пьяный человек прекрасно контролирует свои мысли. Они только становятся более вязкими, контроль от этого замедляется, но никогда не исчезает.

— Прощаться незачем, — сказал Перцов, — мы выйдем вместе.

Он вынул револьвер из письменного стола и, пряча его в карман, добавил:

— Я все-таки коммунист, вы промахнулись.

27. ОБЪЯСНЕНИЕ С РЕЦЕНЗЕНТОМ

Надо объяснить с рецензентом.

И — привлечь к разговору читателя.

В этой книге нет выдумки. Вот почему некоторые действующие лица уходят из нее, не возвращаясь.

Перцов в эту книгу не вернется. Я не стал придумывать ему судьбу.

Жизнь не знает фабулы. В ней нет концовки: жизнь продолжается.

Некоторые люди проходят мимо нас слишком быстро, и их не удастся разглядеть как следует. Так получилось у меня с начтсроем Риллем. Он был очень занят, я его видел мельком. Для схемы он слишком сложен.

Судьбу же некоторых я проследил до конца. О Титкове, например, я нарочно ездил узнавать в КИЖ, к Фирсову.

Кстати, фамилии пришлось изменить — по традиции и чтобы не было обид. Почему-то не полагается обижать людей в книгах, называя их по имени.

Но традиция перестает быть авторитетной.

Литературная форма требует обновления своих тканей, как все живое.

Может быть, в этих тканях нить сюжета должна лечь по-новому.

Может быть, не надо вытягивать сюжет в одну нитку и завязывать — для занимательности — узелки фабулы.

Литература существует не для занимательности. Впрочем, каждый пользуется ею в соответствии со своими вкусами.

Читатель с традициями сейчас очень недоволен. Он любит итти вплотную за героем повести, — итти среди знакомых вещей. Он хочет еще раз прочесть о придорожных соснах, похожих на свечи. Встречаясь с освоенными, знакомыми вещами, он чувствует себя уютно, в своей обстановке.

По-моему, это неправильное чувство.

Надо любить незнакомые, непривычные вещи. Особенно, если они меняют жизнь.

Надо вылупливаться из своей комнаты, итти в жизнь. Хотя бы экскурсионным путем.

Я написал главу о Бессемере, потому что, по моему, он интереснее придорожных сосен.

Человек с традицией скажет: «Но это публицистика!»

По какому кодексу публицистика не уравнена в правах с лирикой?

Впрочем, я не хочу никого уговаривать.

Но я должен заранее, то есть своевременно, возразить против упреков в разбросанности материала.

Здесь даны вещи и люди, какими я их видел в действительности.

И дневник Каневского я видел своими глазами — с ведома самого Каневского и той организации, в архиве которой дневник хранится.

Легко было бы соединить всех действующих в этой книге лиц в одну тесную группу и благополучно привести их к последней странице, к финишу.

Некоторые из них, правда, сопротивлялись бы.

Их можно было бы обуздать.

Но я отказался от выдумки.

Есть выход: назвать эту книгу очерками.

Тогда недовольных не будет.

28. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В ЛИТЕЙНОМ ДЕЛЕ

Могло показаться, что это сделано намеренно: поставлены рядом — в целях сравнения — сегодняшний и завтрашний день литейного дела.

На самом же деле только отсутствие подходящего помещения заставило КЛД (контору литейного дела Оргаметалла) расположить выставку новейшего оборудования бок-о-бок со старой литейной.

В старой литейной неизменные бугры земли, по-

хожие на остатки разрушенных траншей. Доставка земли и расплавленного металла идет вручную. Формовщик — на коленях — прилаживает форму. Вручную готовится «постель» для чугуна...

У вагранки чуть не случилось несчастье: один из рабочих, несших ковш с расплавленным металлом, споткнулся на изрытой земле, ковш наполовину опрокинулся, на землю брызнули яростные струи чугуна; разгоняя сумрак, взметнулись вверх зловеще лопающиеся звезды.

Рабочий смеется. По счастливой случайности никто не искалечен, — металл пролился на землю.

Это все еще сегодняшний день литейного дела. Сегодняшний для старых заводов, не омоложенных реконструкцией. В том же здании, за стеной — завтрашний день, — механизация литейного дела. Механизация подачи земли, формовки, внутрицехового транспорта. Этот завтрашний уже наступил на новостройках.

Талызин переступает порог, он входит вместе с заведывающим выставкой в завтрашний день.

У него на заводе коробка нового чугунолитейного цеха ждет оборудования.

Талызин вглядывается в ровер стационарный: грохот на пружинах, жолоб, магнитный шкив, гребенчатая лента. Все эти части поочередно разрыхляют, освобождают от металлических примесей, расчесывают гребенками испорченную, бывшую уже в формовке землю.

Заведывающий выставкой включает мотор — готовая для формовки земля летит стремительным темным веером.

Рядом — ровер передвижной, такой же портативный, как ручная тележка.

Талызин чувствует себя заказчиком. Значит, нужна критика.

Он подходит к следующей машине.

— Дезинтеграторы «Красной Пресни» быстро ломаются, — говорит он.

Заведывающий выставкой сразу попадает в тон.

— Ломались. В кожухе было мало рабочего места, лопасти забивались землей. Отсюда поломки. Вторая причина: прутья для лопастей были слишком тонки. Но вот новейший образец...

Заведывающий чувствует себя сейчас хозяином машин. Он торопясь включает мотор и всматривается в лицо Талызина: каково?

Талызин, отдуваясь, идет дальше. Громоздкий полуавтомат Ульриха; дает пять кубометров земли в час. Магнитный сепаратор Динкса. Смешивающие бегуны. Над бегунами — огромный жестяной колпак.

— Нововведение?

Заведывающий скромно усмехается, как будто он автор колпака.

— Ясно. Немецкая фирма о защите легких рабочего не подумала. Вентилятор — советский.

— Мы не только жестяной колпак, мы любую из этих машин построить можем, — говорит Талызин. — Это посильно для любого завода, выпускающего хотя бы вентиляторы, — завода, где широко применяется клепка. Отдельные части можно изготовить прямо таки в кузнице.

Завыставкой осторожно покашливает:

— «Красная Пресня» уже изготавливает дезинтеграторы, бегуны, презамы...

— Это полукустарщина! — переходит на привычно сердитый тон Талызин. — Чугунолитейное оборудование почти не отражено в работе Станкостроя! Что нужно? Жесть! Конструкция — простейшая! Для импорта эти машины слишком просты и слишком громоздки. Один транспорт чего стоит!

— Но мы же не можем ждать...

— А кто говорит, что нужно ждать?

— Но ведь, товарищ Талызин, это все же, так сказать, завтрашний день.

— Он становится сегодняшним!

Талызин садится в автомобиль.

«Чугунолитейный пустим до срока, — думает он. — Если краны не подведут, то и сталелитейный... Но водозабор! Каневский... Надо проследить».

У вокзала мимо машины главинжа скользит щегольской лимузин с нерусским флажком. За стеклом лимузина красное мантио и рядом с ним черноглазое усталое мужское лицо.

29. ПРОВОДЫ ЛОРАНА

Профессор Бошко замечает за собой неуместную суетливость. В трамвае он встречает знакомого. Он неожиданно радуется:

— А, товарищ Пчелкин!

Пчелкин улыбается кривовато, хочет что-то ответить. Но профессор не слушает ни его, ни себя. Ему надо решить: сказать ли там, на вокзале, Лорану о судьбе Ротберга?

Круглый Пчелкин смотрит вопросительно. Он, кажется, спросил о супруге.

— Да-да, ничего, благодарю.

В сущности, с Лораном так и не удалось поговорить толком. Между тем связь с западно-европейской интеллигенцией...

— Вот и вокзал. Всего хорошего, товарищ Пчелкин.

Пчелкин криво улыбается.

Соскакивая с подножки, Бошко вспоминает: этот малознакомый человек был Бровкин, а не Пчелкин. Никакого Пчелкина не было.

Неважно. Но эта собственная суетливость...

И поведение в переулке...

Перрон чисто подметен. Носильщики в белых передниках тащат желтые чемоданы с наклейками. На одном четкая надпись: «Berlin, Friedrichstrasse».

У вагона номер пять — Лоран. И — досада — с ним красное манто, птичий взгляд, гофрированный поток черных волос из-под берета.

Лоран вежливо и сухо приподнимает шляпу на встречу профессору.

Сказать ли ему о Ротберге?

Но красное манто щебечет о Сюзанне. Сюзанна, о, да! Лоран полон почтительного внимания. Он передаст сразу же по приезду, он сочтет удовольствием.

— А помните нашу поездку в двенадцатом году, перед войной? — улучив минуту, спрашивает Бошко.

Лоран вспоминает — недолго — и говорит любезно:

— Ну, несомненно!

Красное манто искоса оглядывает профессора: в молодости был интересен; по-французски говорит слишком мягко, с приятным акцентом.

Носильщики втаскивают последние чемоданы.

Лоран целует руку у дамы и поднимается на площадку.

Бошко снова чувствует прилив неприятной, как зуд, суетливости. Он улыбается — непривычно для себя широко — и подается к Лорану поближе.

— Не найдете ли вы возможным передать там нашим собратьям по духу...

Вагон вздрагивает.

Лоран высоко, немного чопорно подымает шляпу:

— О, да! Я расскажу у себя на родине о вашем небывалом строительстве.

Вагон вздрагивает и плывет мимо перрона.

Лоран плавно взмахивает шляпой — трижды. В ответ рядом с красным манто колыхнется белый платочек.

60. ЖИЗНЬ НА ДНЕ РЕКИ

Фирсов, если бывал по вечерам дома, допоздна сидел над заметками. Это не нравилось Петьке Верейникову. Ни поговорить, ни посмеяться. Относительное оживление наступало только с приходом Титкова.

За перегородкой студенчество оказалось пестрым. Поздно вечером появлялся какой-то подвыпивший обладатель уверенного баса и, сквернословя, грозился, что уйдет с практики.

— В совхозе я больше заработаю. Четыреста на всем готовом!

Кашляла истязаемая балалайка.

Пронзительный голос кричал:

— Товарищи! Кипяток готов, налетай!

Бас затейливо завывал рифмованный мат и бубнил:

— Если четыреста в месяц на всем готовом... Триста откладываю. Через год я кум королю.

Он снова матерился с равнодушной настойчивостью.

Фирсов не выдержал и вышел за перегородку.

— Кто тут у вас безобразничает?

— Явление пятое! — крикнул парень с балалайкой.

— Хоть бы женщин постеснялись, — сказал Фирсов.

— Женщин будем стесняться, они рожать перестанут, — прогудел бас.

— Ага, так это ты! — повернулся Фирсов, узнав голос матершинника.

Обладатель баса оказался широкогрудым рыжеватым студентом.

— Ага, это я. А это ты?

Кругом засмеялись. Балалайка замолкла. Начали собираться зрители.

Фирсов сунул сжатые кулаки в карманы.

— Ну, ладно. Вот что: если не прекратишь безобразничать, поставим вопрос иначе.

— Это кто ж поставит вопрос? — рассердился рыжеватый. — Не ты ль? Ставь перед своей... — он прибавил непечатное слово.

— Зачем? Перед организациями поставлю. Чтобы запросили вуз, откуда в него студент попал, что в кумовья к королю лезет.

— Ты демагогию не разводи, сами с усами. Ишь, к пословице придрался!

— А на совхозе капитал срывать — это тоже пословица? Рассуждать, как бы со строительства дезертировать, — это тоже пословица?

— Жильчиков, оставь — он тебя в газете прохватит!

Фирсов повернулся на голос:

— У тебя тут и сочувствующие имеются? Ну, поглядим...

— Гляди. Наклали мы на тебя с походом. Не больно грозись.

Плечом вперед просунулась женщина с ребенком.

— Тебе и погрозить не мешало б, Жильчиков, — сказала она без злобы. — Надоедный ты, хулиганишь.

— Товарищ прав: о тебе, Жильчиков, вопрос поставим, факт, — припугнул высокий студент.

— Ну, завели ярмарку! Когда кончите, доложите мне.

Жильчиков, схватив чайник, поспешно ушел.

Когда Фирсов вернулся в комнату, Петька встретил его осуждающим взглядом.

Фирсов молча сел за стол, перебирая бумаги и стараясь успокоиться.

— Иеромонах какой нашелся, — пробормотал Петька.

— Это кто — иеромонах?

— Да брось ты! Парень матюгнулся, — беда какая! Из-за этого братъ за машинку, — ползавода разгонишь. А строителей — тех и вовсе.

— То строитель из деревни, а то — студент.

— А что ж — студент? Такой же рабочий.

— Нет, не такой же. Он должен впереди класса быть. А не сзади. Да и не из-за материшины я поспорил. Ты это знаешь, не строй дурака.

— А из-за чего ж?

— А из-за того, что этот парень, видимо, сволочь. Который день чушь порет.

— Чушь порет, так сразу ж грозить надо?

— Смотря, какая чушь. За иную и погрозить следует. А что же — расшаркиваться? Вот там женщина одна посознательней тебя нашлась...

— Слыхали! Оставь. На мой век сознательности хватит. В гимназиях не образовывался, а что к чему, разберу без свечки. Ты вон орлом налетел на парня, барином. Накричал. А что толку? Он злобствовать будет, а лучше не станет. Только отношения с ребятами испортил.

— Ну и отмалчивайся, когда слышишь гадости. А я не хвостист.

— Ой! «Не хвостист»! Это ты, брат, для своей передовицы оставь. Там пригодится. А меня этим не проймешь. Я не из тех, что отмалчиваются. Для меня эти парни — своя братва. Поругаться с ними, может, и я поругаюсь, только по-другому как-то. Не по-барски.

— Я — барин? — спросил Фирсов, вставая с табуретки.

— Ну, ну! Я не говорю, что ты барин. Не бледней, чертило. А к парню ты подошел все ж таки...

— Ты обыватель! Отношеньица боишься испортить.

— Он-то? Махровый! — закричал Титков, проле-

зая в дверь и отряхивая снег с рукавов. — Поругались? Стало быть, догорели югни? Дружба врозь?

Титков неприятно радовался ссоре.

— Мы из-за тебя ж и поругались, — нахмурился Верейников.

— Жюль-Верна строишь!

— Нет, не Жюль. Я ему говорю, что хоть ты и порешь продукцию, а все ж надо сочувствие к тебе иметь, раз ты вроде не в себе. А он мне: «Обыватель ты, — говорит, — после этого. А Титкова, мол, мы полностью должны искоренить».

— Нет, это ты, брат, Жюль-Верн! Не обманешь! Ну, чтобы вы не остыли безо времени, я кипятку притащу.

Титков вышел.

В общежитии студентов чей-то голос закричал:

— Ребята! Кто во второй штурмовой?

— Я!

— Я!

— Снимайтесь, сбор у ТЭЦ.

— А что? Что случилось?

— Авария?

— Инструмент брать?

— Сбор штурмовой бригады у здания ТЭЦ!

При первом же крике Верейников сорвался с места и выбежал в общежитие. Через минуту он вернулся и поспешно стал натягивать пальто.

— Что там случилось? — спросил Фирсов.

— На оголовок вызывают.

— А ты при чем?

— Я во вторую штурмовую записался. А ее сейчас на оголовок бросают.

Фирсов оглянул его с завистью.

— Я бы тоже с тобой...

— Приходи к ТЭЦ. Оттуда пойдём на оголовок. Или прямо к реке иди.

Верейников убежал.

Фирсов начал торопливо складывать рукописи. Он вспомнил оголовок, — каким видел его утром третьего дня. Зеленоватые кубы льда огромными кристаллами сверкали на солнце. Над раздетой ото льда водой подымался пар. Два забора из брусчатого шпунта, прорезав лед, бежали узким коридором. Над оголовком высился тесовый желтый зонт, похожий на буровую вышку. Кругом по затоптанному снегу между ледяными глыбами ходили, перекликаясь, люди. Ликовало солнце, слышался смех, искрился лед, стеклярусом отливал снег, во всем этом было что-то нарядное, праздничное.

И подо всем этим, на дне реки — в оголовке — шла непрерывная работа. К марту она должна быть закончена, иначе половодье снесет постройку. От своевременной постройки оголовка зависело водоснабжение новых цехов.

Фирсов оделся и вышел на двор. В черную ночь были вколочены редкие фонари. Он закинул голову: наверху висели звезды. Они моргали влажно и беспомощно. Отодвинутые вдаль, они играли ничтожную роль в балансе этой ночи. Центр был внизу — там, где черная ночь и редкие фонари. Фирсов знал их расположение. Ориентируясь по ним, он двинулся напрямик к реке.

Оказалось, что ночью оголовок найти так же легко, как и днем. Внизу, на реке, белело светлое полукружие. Это был освещен тесовый навес над работами.

Спотыкаясь на бугристой обледенелой тропинке, Фирсов спустился к реке.

В темноте ветер пробирался ползком. Снег плыл по реке белыми змеями. Ветер гнал его в сторону, в даль, в черную ночь.

Ветер остался за порогом.

От порога шли ступеньки вниз, — казалось, в склеп.

Но в склепе этом было скованное теснотой живое многолюдие; яркие лампы освещали мокрые груды песку, кирпичную кладку, людей, лопаты, воду.

Землекопы стояли на деревянной перекладине, нагнувшись, — наготове, с лопатами наперевес. В углу шевелилась вода. Над водой метался Павша, прораб. Лицо его блестело от пота, электрический свет безучастно освещал его волнение.

— Давай! Давай!

Все насосы работали. Внизу тихо свистела вода. Опершись плечом о кирпичную кладку, инженер Каневский надевал резиновые сапоги.

Фирсов увидел среди землекопов Верейникова.

— Петя, в чем дело? — спросил он. — Вода прорвалась?

Петька молча махнул рукой. Он не сводил глаз с Павши.

— Давай! — закричал Павша озлобленно.

Но было видно: вода перегоняла насосы. Дно оголовка заливало.

— Надо бы глины с паклей... Да клиньями забить дырку-то...

Павша повернулся. Говорил один из землекопов.

— Какие там клинья! Мешки нужны. Хоть бы штук двадцать. Ребята, ну, как бы это...

У входа на ступеньках блеснули кирпичные краги, показались бриджи, короткое меховое пальто, трубка: Эвельтон, консультант. Его срочно вытребовали из города ввиду серьезного положения на оголовке. За ним спустились новый секретарь парткома, переводчик, Талызин.

Эвельтон наклонился вниз, туда, где всхлипывала, посвистывая, вода, поглядел на работающие насосы, попробовал лопатой дно и вытер руки носовым платком. Вынув трубку изо рта, он произнес несколько слов.

Переводчик, торопясь, передал Павше:

— Прежде всего нужны мешки с землей.

— Эх, да сами знаем!

Эвельтон заинтересовался, повел бровью:

— Э?

Переводчик сказал три английских слова.

Эвельтон пожал плечами.

Павша, не стерпев, пустил матом.

— Э?— заинтересовался Эвельтон.

Переводчик откашлялся.

— Да ты не переводи!— рассердился Талызин.—
Это мы между собой.

Верейников сошел с деревянной перекладки и, шлепая ногами по воде, подошел к Павше:

— Если через полчаса доставить мешки,— не будет поздно?

— И час продержим.

Верейников крикнул:

— Ребята! Кто из комсомольцев живет поблизости? В бараках?

Откликнулось несколько голосов.

— Семеро,— подсчитал Верейников.— А ну, подайсь за мной наверх!

— Верейников, друг, ты куда?— опасливо, боясь надеяться, спросил прораб.

— Держись, Павша!

Комсомольцы ушли наверх, следом за Верейниковым.

Появление американца словно разбудило стоявшего неподвижно Каневского. Его казавшееся зеленоватым лицо оживилось. Он сердито покраснел: «Консультант! Без него как будто не знают, что делать».

Каневский болезненно ощутил свою неподвижность. Чтоб прервать ее, он ушел от кирпичной клад-

ки в сторону. Вода, густо замешанная песком-пльвунном, вязала ноги.

Подойдя к Павше, Каневский предложил рыть в углу шахты яму и сгонять туда воду. Землекопы двинулись вперед с лопатами наперевес и торопливо стали отбрасывать песок в сторону. Через минуту вырытая яма приняла воду. Рядом показалось дно оголовка. Теперь виден был сруб.

Сруб, на котором была сложена тяжелая кирпичная кладка, кончился огромным ножом. Нож вгрызлся в землю. На нем кладка должна была равномерно осесть в землю,—на несколько метров ниже речного дна.

Каневский прошел вдоль сруба, проверяя правильность осадки.

— В порядке. Можно продолжать.

— Землекопы, давай!— крикнул Павша.

Начали с разных сторон рыть землю под срубом.

Вдруг снизу с удвоенной силой хлынула вода.

Всхлипывая, она снова залила дно оголовка и сомкнула у ног работающих грязный, чуть вспененный круг.

— Отставить!— хрипло сказал Каневский.

Он вынул складной метр. Забыв засучить рукав, глубоко погрузил руку с метром в воду. Он измерял кладку.

Павша следил за ним. Потом прикинул глазом: похоже, что правая сторона кладки перестала оседать. Стенку разорвет!

Каневский взял лопату и стал торопливо копать там, где нож, видимо, перестал врезаться в землю.

Павша, подбежав, вырвал у него лопату.

— Я скорей!— пробормотал он.

— Да, да, скорее!— крикнул Каневский.

Он просунул руку под кладку. Теперь можно было нащупать железо ножа.

— Сюда,— указал он прорабу.

Павша налег на лопату. Прорезав песок, лопата уперлась в твердое. Павша стал снимать слой песка, отбрасывая его в сторону.

Каневский снова сунул вниз руку. Для удобства он встал на колени и почувствовал, как вода скользнула за резиновые голенища сапог. Он ощупал грунт, судорожно царапая пальцами песок. Под ножом лежал круглый металлический брус. Он был положен поперек кладки, многотонная тяжесть глубоко давила его в грунт.

— Должно быть, лом,— сказал Каневский Павше.

— А ну, ребята!— позвал прораб взволнованно.

Стоявшие поближе землекопы кинулись к нему.

Талызин, не понимая, в чем дело, подошел к кладке. Каневский стоял на коленях в воде. Она продолжала заливать дно. Консультант Эвельтон смотрел с неодобрением и дымил трубкой.

Когда землекопы вытащили лом, первое, что заметил Каневский,— лом не успел заржаветь в воде. Он сообщил об этом Талызину и Павше.

— Ну,— взволновался Павша,— ну, делов будет! Какая свол... До нас тут никто не был, ребята!

— Тихо,— остановил Талызин, кладя ему на плечо руку.— Тихо, разговор будет после.

Он искоса поглядел на неодобрительно-удивленное лицо Эвельтона.

— Павша, держись!— закричал сверху, со ступенек, Верейников.— Мешки волоку.

Мешки оказались огромными, полосатыми.

— Фирсов, я и тебя обездолил,— обратился к нему Петька,— поспишь на крепком. Пиши, журналист, в блокнот: комсомольцы второй штурмовой все, как один...

— Да давай же мешки, чо-орт!

31. ССОРА

Титков, вернувшись с чайником, никого в комнате не застал. Фирсов и Верейников исчезли. Подождав с минуту, он обиделся: могли бы сказать, куда уходят. Свинство. Это они нарочно, ясно. Да оцрта ли в них, он и один... Подумаешь!

Настроение, однако, было испорчено.

Он стал в одиночестве пить чай, и ему стало жаль себя. В этом чувстве он нащупал что-то приятное: один, брошен друзьями, за окном черная ночь и ветер. Есенинское настроение.

Он вынул бумагу и очинил карандаш. Карандаш написал уже давно выученное наизусть:

Вечерняя даль, ты снова поешь
Мне свои молчаливые песни.

Молчаливые песни — этого еще никто не написал. Он попытался представить себе лицо редактора журнала, куда он снес стихи. Лицо получилось вдумчивое, очкастое. Надежное лицо.

В общежитии за стеной затопали шаги, голоса зазвучали вразнобой, торопливо покрывая друг друга.

В комнату ворвался Верейников.

— Ребята, я сейчас! Вы там орудуйте! — крикнул он и бросился к своей постели.

Откинув одеяло, он взрезал перочинным ножом тюфяк и вывалил солому на пол. Потом подошел к кровати Фирсова и только тут заметил враждебный взгляд Титкова.

— Вот дела-то какие, — проговорил Петька, возбужденно улыбаясь. — Я и у тебя тюфяк реквизирую.

— Не дам! — взревел Титков. — Ты что распоряжаешься?

— Во-от, взвился-то! Ну, ладно, не давай. Без тебя обойдемся.

Он вытряс солому из постели Фирсова. Забрав два пустых тюфяка, он поспешно ушел, бросив с порога:

— С Фирсычем согласовано!

Титков остался один. Поведение Верейникова было возмутительным. И Фирсов туда же! Очумели! Хоть бы объяснили, для кого тюфяки. Для клуба? Или приехал кто? Приехали какие-нибудь бюрократы, так сейчас тюфяки отбирать? Сволочь Верейников. Он всегда был сволочь, это по всему видно.

Титков опять взялся за карандаш.

За перегородкой знакомый тенор запел с цыганским надломом про зеленые глаза.

Стихи не шли. Титков изгрыз карандаш и лег спать. Перед тем как потушить свет, он взглянул на разорение, совершенное Петькой. Солома на полу напомнила: «Аржаная моя голова».

Ночью его разбудил громкий говор. Он разлепил веки. Насильно прерванный сон еще наполнял голову дурной мутью. Он увидел неприятную белизну стен, лицо Верейникова и спину Фирсова.

— Нет, вот это жизнь! Это я понимаю!— с непонятным ликованием говорил Верейников.

— А лом? Кто лом-то туда положил?

«Уже помирились,— подумал Титков озлобленно. Никаких принципов. Наш брат всегда так: хоть по морде друг друга отлупят,— сегодня ж забудут. Нет, у интеллигенции все ж таки принципы. Это не пустяк. Вот в Англии...»

Но про Англию ему не дал думать Верейников. Он крикнул:

— Вот и главное-то! Тут-то, понимаешь,— роль газеты. Тут ты такое дело можешь завернуть!..

Верейников был великодушен. Он чувствовал, что Фирсову не по себе от его пассивной роли в оглолке.

— Ты в газете, брат, такое дело...

Титков со злостью повернулся на кровати:

— Вы это что по ночам спать не даете?

— Титков, птица ты моя родная! — захохотал Петька и, подскочив, шлепнул по одеялу Титкова в том месте, где круглился зад поэта. — Ты всех делов наших не знаешь!

— И не хочу знать. Ты, Верейников, сволочь. Гад. Отстань!

— Нет, поскольку ты поэт, пиши стихи. Вот: ночь, дно реки. И я с лопатой! Фирсов, пусть он пишет стихи.

— Ты дашь спать или нет?

— Ну, спи, чорт с тобой! Спи, оппортунист, на мягком. А мы с Фирсовым, как пустынноики вроде. На дощечках-щепочках.

— Нет, как это ты о тюфяках-то догадался? — спросил Фирсов. — Здорово вышло!

— Ну, «как догадался», чудак. «Как догадался»!

Верейников чувствовал себя на высоте.

— Гляжу — нету мешков. Ну, я, стало быть...

У Титкова сон прошел окончательно. Из слов Фирсова и Верейникова он понял: тюфяки нужны были для того, чтобы предупредить аварию. И теперь эти два прохвоста будут лежать героями на голых досках. Свинство.

Верейников лег, не раздеваясь, — чтоб было мягче. И сейчас же заснул.

Фирсов долго прилаживал свое пальто вместо подстилки и наконец тоже улегся, погасив свет.

Часа через два Верейникова разбудил Титков. Он шатался перед Петькиной кроватью в одном белье и повторял:

— Ты не имел права. Понимаешь, ты не имел права!

Верейников поднял голову:

— Чего?

— Ты не имел права. У тебя нет принципов. Это не по-товарищески. Ты беспринципный, Верейников. Ты просто сволочь, я давно об этом знал.

— Да с чего ты кирпичишься-то?— спросил Верейников.

Он увидел сброшенный на пол тюфяк Титкова и захохотал.

Титков рванул с него одеяло и ударил кулаком по подушке:

— Замолчи! Я ликвидирую с тобой всякие отношения! В корне. Запомни это!

— Есть, запомнил. Отношения ликвидируй, а одеяло не тронь.

— Гордишься своей грубостью?

— Слушай, давай отношения ликвидируем завтра. Сейчас спать охота.

— А ты мне дал спать? Я теперь могу спать?

— А чего ж тебе и не спать? Тюфяк-то зачем сбросил? Или клопы?..

— Ты какое имел право не сказать мне, для чего тюфяки нужны? Ты меня изолировал, гад! А теперь героем разлегся!

— Чудак... Ну, спешил я, понимаешь? Это верно, я тебе не рассказал толком. Поторопился. Сознаю: моя вина.

— Ты толстокожий, Верейников. Как чурбан.

— На чурбане и вовсе нет кожи. А еще поэт! Поэт и чернь. Ложись-ка спать лучше! Только тюфяк ты напрасно сбросил. Я тебя понял, Титков. Всерьез тебе говорю: я виноват. Хочешь, публично покаюсь? Завтра! А сегодня спать хочу, иди ты к чорту!

32. В ДОМЕ С КОЛОННАМИ

Вечерняя даль грустна, как старая песня. Редактор должен это понять. Если с утра думать о судьбе стихов, то горечь от запоротых деталей не бывает силь-

ной. Бригадир теряет терпение. Титков чувствует свою вину. Обед в заводской столовке кажется бескусным. Звон тарелок разрушает ритм пляшущих в сознании строк. Стихи встают перед Титковым вразброд, разорванные. Ему начинает казаться, что кой-что можно было бы изменить:

Вечерняя даль, ты снова поешь...

Редактор, конечно, может засмеяться.

В городе Титков встречает Оsepьянца из «Переплава». Оsepьянец зовет на литературный вечер каких-то «пятниц» или «четвергов»: «Там бутерброды бесплатно».

Литературный вечер начат скукой. Упитанный секретарь в щегольской кавказской рубашке читает доклад об изданиях «Пятниц». Доклад идеологически оборудован, докладчик с достоинством жует бритые губы. Встает седой старик и оппонирует докладу с такой вежливой запутанностью, что Титкову непонятно, к чему он гнет.

Оживление начинается, когда подают бутерброды. Густо втекает в комнату молодежь — неопределенного вида девицы и молодые люди в посыпанных перхотью бархатных блузах. Блузы и длинные волосы демонстрируют литературность юношей.

Сын известного, давно умершего писателя грустно сидит в первом ряду и нервно водит уродливой челюстью. Рядом с ним худая старушка в третий раз тянется за бутербродом, конфузаясь от неприличия своего поступка. Черноволосая женщина властно требует слова и произносит взволнованную речь, не имеющую никакого отношения к вечеру.

На вопросительный взгляд Титкова Оsepьянец отмахивается:

— Она всегда так, оставь.

Женщина успокоилась, ее выступление особого

внимания не вызвало. Девушки переглянулись, молчаливые юноши иронически тряхнули перхотью пышных голов. Потом вышел писатель, с хорошим лицом рабочего, знакомый Титкову по портретам в «Огоньке», и прочел главу из своей повести.

Титков в это время думал: «Как хорошо было бы напечатать стихи в издательстве «Пятниц»! Это была совершенно безнадежная мысль. Титков опечаленно понял это, вспомнив про доклад секретаря. Доклад сообщал цифры: за год «Пятницами» изданы четыре книги, две из них принадлежали перу председательницы литобъединения «Пятниц». Впрочем, оно называлось, кажется, «Четвергами». И даже подробнее: «Синицынские четверги». Титков упал духом. Бутерброды же были хуже, чем в заводском буфете.

Тоскуя, он вышел в коридор и пустился бродить по окрестным комнатам. В кабинете творчества он увидел двух разглядывающих плакат девушек и хищно согнувшегося над книгой, вооруженного карандашом человека. Это был критик М. Н. Он так и подписывался — М. Н. Критик страшно сверкнул на Титкова голубыми очками и нацелился в него острой, как гвоздь, бородой. Потом снова нырнул в раскрытую книгу. Каждый входивший ему мешал. Титков не знал, что книга сулила улов. Вид у критика был охотничий, увлеченный. В книге писатель Карпухин рассказывал:

«Валериан увидел знакомые деревья. Ничто не изменилось здесь за десять лет. Так же высились сосны...»

Ага, ничто не изменилось за десять лет! Вот как! Карандаш критика заскользил по блокноту:

«Для т. Карпухина незаметными остались те сдвиги, которые...»

Стоявшие у плаката девушки сдавленно засмеялись. М. Н. строго заблестал очками. С уважением по-

глядев на целеустремленную фигуру М. Н., Титков перешел в другую комнату. Там, играя разрезальным ножом, сидела на столе пышная женщина в джемпере. На стуле у ее ног помещался заморенный юноша и смотрел на нее с безнадежностью. Кроме них в комнате был третий, и этот третий говорил:

— Товарищи, ну работа же падает! Она падает определенно. Мне дали спешно написать ораторию. Я за две ночи ее написал. Тогда мне говорят — не та тема...

У говорившего были гладкие розовые щеки, утомление к нему не шло. И женщина в джемпере и заморенный юноша, вероятно, знали, что он прекрасно спит свои ночи. Оратория написана ночью, — это так полагается говорить. Это подходит к стилю эпохи. Оратория, конечно, была написана днем. Это не мешало ей быть плохой.

— Ее отклонили. Работа же падает, товарищи, — жаловался автор оратории и вздрагивал плотными щеками.

Все люди были пристроены. Они писали оратории, читали доклады, требовали, обижались, печатали свои статьи. Титков почувствовал себя сиротливым. Он не знает, куда надо идти и перед кем обижаться. И потом он не сможет так трясти щеками. Он будет только молчать с глупым мужеством отчаяния. В любой редакции такое молчание погубит самого талантливоего поэта.

А бригадир в механическом цехе теряет терпение.

Окончательно расстроившись, Титков вышел из дома с колоннами. Нужно было попасть на последний поезд.

Дома он застал одного Верейникова.

Верейников сказал ему серьезно:

— Алеша, я тут тоже стишки написал.

Титов доверчиво подошел к нему и прочел на раздинованном листке бумаги:

Чушь пороть в стихах, быть может, поэтично.
Но пороть детали — это неэтично.

— К чорту! — побагровел Титков. — К чорту!

Он, не раздеваясь, вышел и хлопнул дверь.

На дворе куски смерзшегося снега звенели под ногой, как фарфор.

Титков пошел искать Ваньку Карякина.

88. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОГУЛКИ

«Наконец надо подвести какие-то итоги.

Рабочий с шелковистой бородой, говоривший мне вполголоса (как сообщнику): «Заграницы постыдились бы» — оказался мукомолом в прошлом. Фамилия его Малышев. У него на Волге были свои лабазы; его разоблачил Кашицын. Малышев арестован в связи с покушением на Абрахманова. В оголовке землекопом работал его племянник. Он показал следователю: положить лом под кладку научил его дядя, Малышев.

Как элементарно! По-газетному обнаженная — надоевшая — схема классовой борьбы. Но ведь это действительность! И в этой действительности мне надо наконец найти свое место. Это сделать будет легче, если не навешивать на простые факты флер своих глубокомысленных рассуждений.

Поэтому: с сего числа должность Мефистофеля упраздняется.

Мне некогда. Я не думаю об Елене. Я не думаю о недоверии ко мне. Оголовок будет готов в срок! И я выругал Талызина. За консультанта, без которого мы обошлись бы. Талызин удивился.

Оголовок будет готов в срок».

Звонок телефона. Голос профессора Бошко.

— Нет, я не заеду к вам, гражданин Бошко.

— Что за тон? Вы знаете о судьбе Александра Альфредовича? Я вам хотел подробно...

— Мне не нужны никакие подробности.

— Значит, вы вообще...

— Да, вообще. Не звоните ко мне, прошу вас.

Каневский повесил трубку. Он поступил как будто правильно. Но во рту был неприятнейший вкус. Это — задавленное волнение дает реакцию каких-то желез. Как неприятно оскорблять человека. Даже если он враг.

Хорошо, что сегодня ночная бессменная работа на заводе.

В конторе, в пустой уже комнате Каневский находит Елену и Рилля.

— Значит, вы не ко мне?— говорит Рилль и смотрит на Леонову недоверчиво.

— Нет. Я по поручению товарища Александра.

— Как представительница райкома? Только?

— Да.

Каневский поспешно выходит на лестницу, еле поздоровавшись с Еленой. «Значит, и Рилль...— думает он.— Значит, и он...»

Но во дворе его догоняет Елена.

— Вы это что ж плохо здоруетесь с друзьями?

— Я спешил.

— Ваша работа начинается в десять. Я узнала. Покажите мне строительство.

Строительство — ведь это кроме цехов еще лохматое поле, новая колея подъездного пути, горы песку, непрочно прикрытые снегом.

При свете луны лохматое поле кажется шкурой голубого зверя.

Елена спотыкается о проволоку. Каневский берет ее

под руку. Елена говорит обыденные, неинтересные слова.

Каневский вспоминает, что в последний раз он держал ее под руку в зоологическом саду. Там она назвала попугая румынским офицером. А про сморщенную кожу на ногах у слонихи сказала: «Как трикотажные кальсоны на вырост». У другой получилось бы грубо. Каневский потом много раз перебирал в памяти эту болтовню, и каждое слово Елены казалось ему замечательным. Теперь он слушает ее невнимательно. Лунный свет падает ей на щеку, щека кажется впалой. Лицо будущей старухи.

— Мне четвертый десяток пошел, Каневский.

Каневский молчит.

Поле круто взрезано железнодорожной колеей.

Над колеей — насыпь выбеленного снегом песку.

Перейдя рельсы, Елена взбирается на откос. Каблуки ее ботишков неверно ступают по комьям рыхлого грунта. Влажный ветер гуляет вокруг; и недавно вырытая земля оттаяла первой.

Каневский держит Елену за локоть.

Пронзительный металлический крик обрушивается на них. Грудастый паровоз вылез из-за поворота, — казалось, неспешно и осанисто. Елена рванулась — выше, дальше от рельс. Нога Каневского скользнула по круглой оттаявшей глыбе.

На секунду он видит падающее на него сердитое лицо Леоновой. Он схватывается руками за насыпь и с ощущением непоправимого сжимает оставшийся в пригоршнях снег. Руки скользят дальше, ночь на мгновение чернеет, — это пламенно дохнула паровозная топка, щекой своей Каневский касается шершавых, еще не нагруженных рельс. Услышав удаляющийся вой паровоза, он переживает воспоминание, ставшее далеким: как с непокрытой головой он летел вниз и влажный ветер шевелил его волосы.

Приподнявшись, он видит Елену с расцарапанной щекой.

На синих рельсах темнеет его шапка, изжеванная колесами паровоза.

— Какой вы смешной!— говорит Елена и утирает щеку.— Мы с вами вместе подошли к смерти. Значит, поженимся. Мне хочется кричать — испугалась. Как глупо.

— Тише, тише,— растерянно просит Каневский, трогая руками голову.

Голове холодно, ветер перебирает редкие волосы. Он машинально вынимает часы.

— Вы не опоздали?— слишком громко хохочет Леонова.

— Да, надо идти. Слышите, ветер какой? Весна.

— Разговор о смерти, любви и весне. Впрочем, не о любви,— о женитьбе. О чем же вам говорит сегодня весна?

— О работах на дне реки. Их надо окончить до пловодья.

— Иначе?

— Иначе инженер Каневский перестанет существовать.

— А завод?

— Завод опоздает с пуском на полгода.

Лохматое поле под голубой своей шкурой коварно прячет обрывки проволоки, железную арматуру, доски, острые камни.

Впереди вдрагивают ярко освещенные окна: в старых цехах идет электросварка.

— За последнее время вы стали какой-то другой,— говорит Елена Каневскому.

Он долго молчит.

— Я вылечился от навязчивых идей.

— И от навязчивых чувств?

— Да.

— Вы слишком серьезны для шуток. О женитьбе я пошутила.

— Я знаю.

Они проходят мимо недостроенного корпуса. Неожиданно за кирпичным выступом раздается говор. Знакомой медью гудит голос Рилля:

— Достаточно ли учтена в фундаменте близость кузницы?

В пролете нового цеха — Рилль и Талызин. Фонарь раскачивается наверху. Поэтому кругом пляшут угловатые тени.

Елена схватывает Каневского за руку.

Удивившись ее порывистости, он наклоняется к ее лицу. Луна покрыла это лицо оперной бледностью, глаза расширены. Не пропустил ли он опять мимо себя самое ценное в жизни?

Губы Елены совсем близко, они шепчут:

— Опять он, Рилль. Пойдите...

Шопот Елены тревожен.

— Но он нас не увидит, — недоумевает Каневский. — Он на свету, а мы в темноте. И потом царапина на вашей щеке совсем не видна.

— Ах да, вы опять правы!

Елена с досадой ускоряет шаг. Они проходят стороной, мимо старых зданий.

В механическом цехе прыгают голубые огни.

Идет электросварка.

84. СПРАВКА О ЛЮДСКОМ РАВНОДУШИИ

Эта глава деловая: справка о людском равнодушии.

Людскому равнодушию был посвящен доклад Леоновой в райкоме.

Ведь это одна из трудностей.

В кабинете начстроя на стенах — синие флаги, иссеченные белыми линиями: проекты.

Время медленно разворачивает свои страницы; организованная человеческая воля ускоряет этот процесс.

На проектах —

перестройка чугунолитейного цеха. Новая кузница. Схема отсосной вентиляции, цветники, аллеи. Цветы и производство стального литья.

Иногда время мстит. Чужой ветер рванет его страницы, они замутнеют неясными лицами прошлого.

Бывает: человеческое равнодушие принимает странные формы.

Заводострой — контрагент, строящий фундаменты, коробки цехов, котлованы — подал в ОКС (отдел капитального строительства) завода заявку на материалы. ОКС равнодушно урезал заявку наполовину. Ровно наполовину: легче для себя и нагляднее для пострадавшего. Но пострадавшим оказалось строительство. Пострадал и равнодушный человек, урезыватель из ОКСа: над его головой бледный от злости Талызин пять минут тряс копией урезанной заявки Заводостроя. Это были страшные пять минут. После этого хранитель традиций (урезать любую заявку!) с облегчением узнал о своем увольнении.

Заявка же была спешно возвращена из наркомата. Просидев над ней четыре часа, Талызин сократил ее итог на три с четвертью процента. Невыразительная цифра.

Чтобы Заводострой не вышел с выгодой для себя из описанного случая, нужно сообщить: Заводострой не только составляет правильные заявки; от времени до времени он вносит (инженер Егоров) в протоколы особое мнение. Особое мнение оборудуется перечнем условий. Условия формулируются так, чтобы Заводострою была обеспечена тропинка для выхода из возможных бедствий. Когда в одном из выстроенных зданий обвалилась стена, оказалось, что не был сде-

лан распор в фундаменте. Но распор иносказательно был оговорен в протоколе инженером Егоровым.

Целеустремленность оговорок — особых мнений: как бы чего не вышло.

Автор оговорок — инженер Егоров — равнодушный человек.

На чеховских страницах живет тихой жизнью его родственник по восходящей линии.

Стрела вольткрана уверенно перечеркнула небо. Последние пачки кирпичей плывут вверх, — заканчивается четвертая стена сталелитейного. Кирпичную кладку ведет здесь бригада Кожемякина; она вкалывает американский рекорд. Американцы в среднем укладывают семьсот пятьдесят кирпичей в день на человека, и как рекорд дают тысячу. Каменщики Кожемякина дали тысячу пятьсот.

Внизу к вольткрану рабочие подносят кирпич в рамках. Это очень удобные рамки, рассчитанные на шесть штук кирпича, — груз вполне посильный и для мужчины и для женщины. Если тара удобная. Работа сдельная. И все же кой-кто носит по два, по три кирпича. Сами урезают себя, свой заработок. Как это похоже на ОКС, зарезавший заявку для своего же завода!

А рядом — два парня лежат на бревнах; заботливо выбрали сухое местечко среди талой воды. Непонятно, почему они лежат. Впрочем, завидев Талызина издали, они вскакивают, не ожидая окрика. Большинство же инженеров проходит мимо, молча. И в этом одна из трудностей стройки — людское равнодушие. Инженеры молчат при виде лодырей, так как это не их участок.

Лодыри боятся Талызина, Корнакова, Леонардо, Локтева, Кашицына, Каневского. Каневский не кричит, он подходит и смотрит непонятными глазами.

Это не грозит ничем; но после этого, неловко, кривовато усмехнувшись, лежебоки встают с бревен.

В кузнечном цехе монтажные работы сильно задержались из-за шаботов к молотам. Шаботы были получены из Швеции, не строганные снизу. Можно было нащупать на их поверхности впадины до тридцати миллиметров глубиной. Пришлось гнать тяжелые шаботы в Подольск — строгать. Вряд ли была недобросовестность со стороны шведов. Едва ли они хотели нагреть СССР, сэкономив чепуху на строганьи. Дело в том, что на шведских заводах шабот ставится не на дубовую подушку, как у нас, а на технический войлок. Так называемый железовойлок. При этом условии шероховатый низ шабота не является дефектом. Шведы приготовили для нас шаботы, годные для кузнечных цехов Швеции. Правда, они не заинтересовались как следует нашими производственными условиями, не подумали о наших «подушках». Это, пожалуй, тоже равнодушие. Но в какое сравнение идет с ним равнодушие наших приемщиков? Ведь они, платя золотом, обязаны были знать о тех качествах, которыми должно обладать оборудование, закупленное для наших заводов!

Плюшкин был незаконен. У него в кладовых гнило сукно. Он был скуп.

Какие-то равнодушные люди в импортирующих органах, утвердив лицензию на ввоз станков, отказали в разрешении на ввоз моторов к ним. Сэкономили.

Маленький внук Полуярова, имитирующий бег автомобиля в талой воде и тем губящий единственные штиблеты, знает: мотор — сердце машины.

Машины прибыли на завод мертвыми. Без моторов.

И нужно было упрямство Рилля, помноженное на бешеный натиск Талызина, чтобы моторы — с опозданием — все-таки были заказаны.

Внук Полуярова, брызгая талой водой, так и не

узнал, о чем ругался сердитый дядя Тальезя, проходя мимо него с чернявым человеком. Но про мотор Полуяров-внук ответил бы,— он хорошо знает: мотор — сердце машины.

В наших условиях нельзя быть скупым, надо быть экономным. Плюшкин из скупости губил вещи, у него гнило сукно. У нас, когда подражают Плюшкину, не замечают сходства в результатах.

Если кто-нибудь сомневается в рассказанном, можно сообщить адреса. Впрочем, они уже сообщены — в райком и РКИ.

Писать же об этом нужно, потому что это явление типичное, а не исключение.

Это — конкретные формы людского равнодушия. А оно — такая же трудность для стройки, как нехватка материалов.

Нехватка материалов. Для кузницы доставлены новые подушки. Подушки для молотов — это сшитые из дубовых брусьев многопудовые квадраты. Рабочие, монтирующие молота, заявили против подушек отвод. Тогда прибыла комиссия и установила: брусья в подушках — ненадежны, часть из них — гнилые. Не хватка материалов. Как при этой нехватке материалы успевают гнить, если они из дерева, и ржавеет, если они из металла? Летом тридцать третьего года можно было наблюдать у станции Перерва аккуратные штабеля запасных частей для железных дорог: буксы, крюки, стяжки. Штабеля лежали не один месяц под дождем: ржавчина съела верхний слой металла. Эти запасные части — «запчасти», как говорят экономящие время энкапезовцы, были получены от расположенного неподалеку, вновь выстроенного завода. Завод расширяет свою программу — и штабеля рыжих от ржавчины, гибнущих, не покрытых от дождя запчастей растут. Тут же лежит — третий год — котельное железо. Оно не ржавеет: покрыто какой-то проч-

ной краской. Лежит с тридцатого года. В газетах были сведения, что котельного железа нехватает.

Адрес: Станция Перерва, М.-Курской ж. д. — налево от путей.

Энкаперэсовцы переписываются о нехватке запасных частей. Экономя время, они пишут: «запчасти».

Людскому равнодушию был посвящен доклад Леновой в райкоме.

Когда чужой ветер рванет страницы времени, они мутнеют невнятными лицами прошлого.

35. ЗНАКОМЫЕ ЧИТАТЕЛЮ ЛИЦА

Над вокзалом носились звонкие крики.

Коренастый парень, задрав лицо вверх — к циферблату станционных часов, — покачивался и пел.

Он забирал непомерно высокие ноты и, остановившись где-то на границе фальцета, спрашивал толпу: — Ну, как голос?

Толпа неопределенно молчала, приглядываясь к поющему.

Он прохаживался, выпятив грудь. Дышал перегаром и снова, встав в позу, выводил две-три ноты. Потом повторял:

— Голос-то, а?

— Ничего... кхм... настоялся!

И когда пятьдесят
Постучат
В виски поседелые,
Свой последний обряд
Я исполню...

Человек в авиаторском шлеме стремительно прошел в толпе и толкнул певца, заслонившего проход к вагону.

...Последний взгляд,
Брошенный...

— Не толкайся, Дубин-Корень, арап Петра Великого.

Последний взгляд, брошенный...

— Ну, как голос?

...Брошенный
В этот мир, непомерно широкий,
Я, до дыр изношенный,
Уйду в смерть — одинокий.

— Вон как! — раздался насмешливый голос из толпы.

Дубин-Корень, проталкиваясь, сказал — уже на площадке вагона:

— Вот ведь...

— Что вы? — не расслышал его спутник: Дубин, разговаривая, не вынул трубки изо рта.

Дубин ответил, не разжимая губ:

— Надо с-слушать. Тогда будет с-слышно.

Но, войдя в вагон, он сразу расцвел:

— Елена Викторовна, родная!

Леонова рассказывала у окна Талызину и плановику Мохову анекдот про свою расцарапанную щеку.

— А, Дубин! Кто это там поет?

— Один рабочий с нашего завода, хулиганистый парень.

Он поглядел на Талызина.

— Я по привычке: «наш завод», а ведь я там уж не работаю.

— А где?

— Зампредседателем треста.

— Ого!

Леонова насмешливо глядит на авиаторский шлем зампредседателя треста.

— Значит, бесповоротно? — спрашивает ее Талызин.

— Бесповоротно. Дубин, я уезжаю на Дальний Восток,— поясняет Елена.— На три года.

Спутник Дубина беспокоится и отводит глаза в сторону: приличествует ли ему присутствовать при фамильярном разговоре дамы с его начальством?

Леонова все еще глядит насмешливо на синее от бритья лицо Дубина.

Дубин-Корень, пожилой юноша, придвигается ближе к ней, и сквозь очки блестят его угольно-черные глаза.

В наши дни почти все бреются, бороды встречаются все реже. Это — не гитиена, это имитация молодости. В наши дни люди не хотят стариться.

Елена отодвигается и начинает рассеянно разглядывать спутника Дубина: собачье лицо, сизо-розовые говяжьи щеки с бульдожьими складками. Глаза бегают. Должно быть, лжив до трепета, лжет начальству преданно. Ради лжи просиживает на службе до ночи только для того, чтобы, когда начальство позвонит, сказать скромно: «Да я тут засиделся за работкой одной». Ну, как отделаться от таких людей? Неужели они так и вымрут сами по себе в советском аппарате?

Спутник Дубина взгляда Леоновой, конечно, не понял. Но, собачьим нюхом учув неладное, отошел к соседнему окну.

— Дорогая, не верится: на Дальний Восток! Слушайте: перед отъездом у вас найдется несколько дней?

Дубин придвигается все ближе.

— Эге,— говорит Талызин и многозначительно дергает себя за усы.

— Слушайте, а как же наш роман?— спрашивает зампредседателя треста.

— Роман? Какой?

— Бросьте, бросьте. Надо наконец перевернуть следующую страницу.

— Ах, вот что!— Елена не сразу попадает в тон.— А я не хочу перевертывать.

— Может быть, я подхожу больше?— деловито спрашивает Талызин.— Мне еще нет пятидесяти.

— Здесь мы допускаем свободную конкуренцию.

— Откроем запись конкурентов. Нельзя же всем сразу за дело браться.

— Учтите одно,— говорит Дубин,— я знаю шестнадцать способов любви.

— Все ваши... шестнадцать способов, — медленно тянет плановик Мохов, — все ваши шестнадцать не стоят одного... на который природа давно взяла патент.

— Вот и сам Эдуард Рилль! — улыбается Талызин.— Почему это, хозяин, ты сегодня не на машине?

Рилль закрывает за собою дверь, не спеша проходит по вагону и опирается локтем о спинку скамейки, над головой Елены.

— Товарищ Рилль, записать вас в очередь на роман с Леоновой?

Елена краснеет сердито, — до того, что лицо ее становится влажным.

— А кто первый в списке? — интересуется Рилль.

— Дубин-Корень.

— Тогда меня вычеркните.

— Ого! Он хочет быть первым.

— Вы не будете ни первым, ни последним, товарищ Рилль, — колко бросает Елена.

Рилль спокойно набивает табаком трубку.

— Девочка, вы ж себя выдали. Эдуард, бери, хозяин, весь список. Ой, недаром он сегодня не на машине. Мы — понимающие. Сколько вагонов ты прошел до своего появления в нашем небольшом, но избранном обществе?

— Довольно пошлостей, — сердито произносит Елена.

Тогда Рилль берет из рук Талызина последний номер «За кордоном» и спрашивает:

— Читал статью Лорана?

— Как же! Понимаешь, совсем будто коммунистом написано.

— Нет. Для коммуниста слишком патетично.

Широко расставленные глаза начстрой упираются в говяжьих щеки дубиновского спутника. Спутнику становится не по себе — до того, что он начинает проделывать странные движения: вытягивает шею и перебирает пальцами.

— Чтобы быть вполне нашим, — говорит Рилль, — нужно знать не только патетику сегодняшних результатов, но кровь, грязь и пот вчерашних будней.

Эдуард Рилль сегодня что-то необычно говорлив. Возможно, это увод в сторону. Елена смотрит в окно.

К чему понадобился начстрой француз Лоран?

И все молчат.

Рилль, набив трубку, идет на площадку курить.

Влажный ветер треплется у поручней и буферов.

Из соседнего вагона песня прорывается через полузакрытую дверь и обрывками улетает в черное поле.

На площадку выходит Елена.

— Я еду на три года, — говорит она, снимает перчатки и кладет руки на плечи Рилля. — Три года, глупый, ведь это — конец.

Кожаные плечи Рилля холодными толстыми складками щекочут ее ладони.

Поезд с угрожающим свистом проносится мимо полустанка. Фонарь на секунду освещает вагонную площадку.

Лицо Елены вздрагивает, она отворачивается, потом уходит в вагон.

Рилль молчит и курит.

Черное поле дышит талым снегом предвесенней тревогой, ветром.

36. ПОВЕДЕНИЕ КОРНАКОВА

Весна пахнула талым снегом.

Сергей Корнаков вышел утром в кухню разводить примус. Это было непривычным для него делом. Теперь он был один. Мысль об этом вдруг кольнула его, причинив странную боль. Ноги стали ватными. Он заглянул в окно. Влияние весны, сырой погоды было несомненным.

На завод он пошел, не позавтракав.

Там он почувствовал себя совсем крепко. Казалось, работа шла даже оживленней, чем всегда. Он с величайшим интересом выслушивал всех, с кем приходилось говорить за день. Широкое лицо плановика Мохова его обрадовало. Мохов тянул, как всегда, слово за слово, вертел крышку от чернильницы, оглядывал стены. Его медлительность многих сердила. Корнаков обычно его просил:

— Да не тяни ты! Ну, чего ты тянешь?

Теперь плановик Мохов не вызывал в нем отпора. Плановик самодовольно улыбался и не спеша говорил о том, что проекты Оргаметалла следует забраковать.

Корнакову было интересно и слушать об Оргаметалле, и смотреть, как улыбка растягивает широкий рот Мохова, и думать, женат ли Мохов и что у него за жена. А возможно, и дети есть.

— Так вот, — тянул плановик, — это ж смешно, я говорю... Проекты планирования, да. Для проектов планирования они берут в качестве основы...

— Ты семейный, Мохов?

— Семейный. Берут систему Ростсельмаша. Но ведь производство-то другое. Производство, я говорю, другое? Все ж таки от производства надо исходить. Да. Ну, так вот. Поскольку несомненно...

— А чем ты заменишь проекты Оргаметалла?

Мохов некоторое время боролся с заливавшим его самодовольством.

— У меня тут подобралась... группа. Группа ИТР. Работаем пока в порядке общественной инициативы.

— Неплохо. Знаешь, пожалуй, это хорошо,— оживился Корнаков.

Он с симпатией глядел на поношенное пальто Мохова, на складчатое его, щетинистое лицо: тихо-дум, а работник прекрасный. Тянет, тянет, да зато и вытянет.

— А не удержишь? Успеет твоя группа?

— Да уж... делаем. Делаем. Через три дня... Или нет.— Мохов вопросительно поглядел на стену.— Или... да, через четыре, ну — пять дней Талызин будет иметь наш проект.

Он повернулся уходить.

— Слушай, Мохов, — остановил его Корнаков, — а как ты вообще живешь? Дети у тебя есть?

Мохов снисходительно засмеялся. Белые зубы на его запущенном лице были неожиданными.

— Что это сегодня с тобой? Жена, дети... Я даже не придумую, как отнестись к твоим вопросам.

Плановик медленно оглядел дверной косяк, еще раз улыбнулся и вышел.

Корнаков, огорчившись, вынул бумаги из папки с надписью: «На доклад начальнику». Он только теперь заметил, что надпись эта была любовно разрисована от руки буквами «модерн», даже какой-то акварельный цветок ютился сбоку. На лежащей рядом папке надпись «к делу» была размашистая, деловая, корявая. Корнаков с любопытством стал рассматривать разрисованные буквы. Кто этим занимается? Ему вспомнилось румяное лицо Гали Сизовой, делопроизводительницы. Нет, она с виду комсомолка. Рисовал кто-нибудь из старых службистов. Чем живут эти люди?

Корнаков вдруг спохватился. Собственное поведение показалось ему ненормальным. Он снова ощутил ватность ног.

В комнату вошел рабочий и серьезно объяснил, что его волынят. Не дают расценки сдельно выполненной работы.

Корнаков направил его в ОТЭ.

— Да вот все и посылают от одного к другому! А мне некогда.

Корнаков, чувствуя неясное удовольствие от разговора с недовольным рабочим, повел его сам в ОТЭ. Там все уладилось в две минуты. Сергей даже пожалел, что так скоро. К себе в контору возвращаться было тяжело, нужно было идти на люди, в цех, к машинам.

Тут он встретил Каневского и вдруг заметил в нем какую-то перемену.

— А знаете, вы что-то изменились. Движенья, что ли, быстрее стали?

Каневский остановился, подозрительно вглядываясь в улыбку Корнакова.

— Влюбились вы, что ли? — продолжал Сергей.

— Куда там! — ответил Каневский. — Стар я влюбляться.

— Почему это — стар? Любви все возрасты покорны.

— В наше время не должны быть покорны. Стихи написаны в старое время.

— Вот тебе раз! А в наше время любить нельзя, что ли?

— Любить можно. А покорствовать своим чувствам нельзя. Надо организовывать свои чувства.

— Ишь, какой вы... рационалист. — Сергей в первый раз рассматривал Каневского с таким интересом. — Только что-то неправильно вы говорите.

— Почему — неправильно? — неожиданно вооду-

шевился Каневский. — Если мы организуем производство, хозяйство, людские отношения, то тем более мы должны уметь организовать себя. Должны для себя, для своих чувств создать рамки.

— Нет, что-то неправильно в ваших рассуждениях.

Каневский улыбнулся:

— А неправильно в них то, что они ведутся в рабочее время.

Корнаков покраснел:

— Мне сегодня не по себе.

Извинение было странным, как и весь разговор с инженером Каневским.

Следующий день был выходной. Он испугал Корнакова своей пустотой. С крыш лило, с неба наваливалось ставшее уже грузным солнце. Сергей заранее чувствовал, что попытки работать не удались бы.

И тогда он поехал разыскивать квартиру Стаханского.

В комнате Стаханского он увидел испуганное лицо вскочившей ему навстречу Лиды и ожесточился.

Стаханский сидел на диване.

— Очень приятно, — деланным тоном сказала Лида и нетерпеливо повернулась к Стаханскому: — Ты пойди.

Стаханский, схватил пальто с вешалки, исчез.

Сергей молчал, стоя у двери.

— Ну, что ж, садись.

Он сел, продолжая молчать.

— Как на заводе?

— Ничего.

Разговор не выходил. Корнаков не понимал, зачем он сюда приехал. Со злобой он заметил на диване пиджак Стаханского.

— Что ж, так и будем молчать? — спросила Лида. — Знаешь что: давай играть в шахматы.

Сергей удивленно глядел, как она расставляла фигуры на блистающих лаком клетках.

Он не дотронулся до шахмат.

— Я ведь это для тебя выучилась, Сережа. Для тебя!

— Постой, Лида. Погоди.

Вдруг шахматы покатались с костяным стуком на пол. Уронив пушистую голову на шахматную доску, Лида плакала.

— Ах, ты ведь ничего не понимаешь, Сергей! Ничего ты не понимаешь.

Она отошла к окну, вытирая уголки глаз.

Но Корнаков понял: Лида не любила Стаханского.

— Я найду в другой раз, — сказал он и вышел, осторожно прикрыв за собою дверь.

На дворе его встретили солнце и ветер.

Ветер был наполнен запахом дегтя. На набережной — перед наводнением, загодя — осматривали забитые досками ставни подвалов. Этот запах, мужественный запах корабельной верфи, навигации, судов, готовых к отплытию, напомнил Сергею голубое приволье Волги.

Он поднял голову на льющийся с неба рокот. Глаз Сергея, солнечный луч, полированная поверхность пропеллера встретились в своих путях на миг, быстрый, как удар ножом. Пропеллер сверкнул ослепительно.

Голубое небо было заполнено нарастающим гулом.

— Будут снова в жизни встречи...

Эти слова неведомого как будто и не слышанного романса вертелись у него на языке.

Он почувствовал радость, еще не зная ее причины.

87. КАНЕВСКИЙ КРИЧИТ

После бессонной ночи Каневский вошел в кабинет начсрота и, глядя мимо Талызина, отрапортовал:

— Пробная откачка воды из скважины не дала ожидаемого дебета. Проба показывает сорок кубометров в час.

— Опять двадцать пять, — сказал Рилль.

— Я это предвидел, товарищ начстроя. В своей докладной записке...

— Знаю. Как оголовок?

— Работы идут в три смены. Недостатка в рабочих руках нет.

— Говорите толком, чорт вас возьми! — рассердился Талызин. — Успеете? Не подведете?

Каневский обижался не сразу.

Он начал спокойно рассказывать о водозаборе. Перспективы были неплохие. Он кончил доклад и пошел к двери. Потом вернулся назад и, стукнув кулаком по столу, закричал свистящим тонким голосом:

— Но я не позволю разговаривать со мной таким тоном!

— Кричит, — удивился Рилль и поглядел на Талызина.

— Что это с вами? Эдуард, что с ним? — обеспокоенно забормотал Талызин и даже взялся за графин с водой.

Каневский, потухая, заметил этот жест.

— Что ж, я прошу извинения, — сказал Талызин. Он покраснел, и лицо его сразу стало добродушным. — Это у меня привычка; другие специалисты уже пригляделись ко мне, не обижаются. Братцы, пустим завод, тогда обижайтесь!

— Каневский кричит, — повторил начстроя с видимым удовлетворением. — Хороший знак. А у Талызина — привычка, это верно. Бывают же дурные привычки. Ну, там — курение...

Он вынул трубку и не спеша стал набивать ее табаком:

— Вот и я курю.

— Курение отражается только на вашем здоровье, а привычки Талызина — на здоровье других.

— Он остроумней тебя, Талызин, — заметил Рилль. — Ты когда остришь, это у тебя неважно получается. Спасибо, Георгий Иосифович, вы меня успокоили, покричав. Верю: оголовок будет готов в срок.

— Оголовок будет закончен до срока! А вот поглядим, когда войдет в строй сталелитейный. Вот это мы поглядим!

Каневский, чувствуя, как лицо у него наливается кровью, вышел.

По дороге к реке он заглянул в кузницу. В боковых пристройках — в обоих крыльях цеха — уже были смонтированы легкие агрегаты: мелкие молоты, ковочные машины, фрикционные и эксцентриковые прессы. В среднем пролете, который возник из надстроенного старого здания кузнечного цеха, расположилось тяжелое оборудование — паро-гидравлический пресс, крупные паровые молоты и паровые штампы.

У двухтонного молота три человека поворачивали на цепи раскаленную ось. Она уже покрывалась сизым налетом. Один из рабочих обдул из пневматического рукава окалину. Машинист нажал рычаг, и молот упал.

Да, в основном перестройка кузнечного была закончена.

С потолка капало. Каневский взглянул вверх: крыша была еще не покрыта. Он вспомнил, как на днях Талызин ругался в телефон о руберойде. Нехватало руберойда, импортные станки могли заржаветь.

Каневский приглядывался к цеху со смешанным чувством: безуспешно он уклонялся от надежды, что цех опоздает с пуском и оголовок будет готов раньше; с

другой стороны, отсутствие кровли, угроза ржавчины на машинах была неприятна. Вражда к Талызину была перемешана с солидарностью. Этих волокитчиков из треста и не так еще надо было бы обрутать.

Он увидел пресс Венсана и груды готовых болтов. Ну, конечно: этот Корнаков — из молодых, да ранний. Не покрыв крышу, не построив заготовительного отделения, он хочет показать, что цех уже работает, начав программу по основным поковкам.

Тут же ему пришло в голову: чугунолитейный, конечно, тоже будет готов в срок. Вот только сталелитейный... Там все еще не ладилось с машиной Егеря. И это ложилось персональным грузом на Талызина: он вычеркнул из заявок на импортное оборудование воздуходушную турбину, задумав раздобыть ее в ЦЧО, куда она попала из Риги, — еще во время империалистической войны. С пятнадцатого года турбина пролежала без пользы на провинциальном заводе, отдельные ее части куда-то ушли с заводского двора, и только когда была поднята речь о передаче Егеря в Москву, завод этот начал торопливую войну за оставление турбины у себя. Но нарком прекратил дискуссию — турбина была перевезена и отремонтирована. Однако она готовила неожиданные сюрпризы. Недавно Корнаков открыл при Каневском не замеченный раньше перекося в муфтах. Возможно, турбина еще покапризничает.

Каневский направился было к сталелитейному корпусу, но, увидев, что туда же пошел Талызин, повернул в сторону и через скрапной двор прошел в чугунолитейный цех.

Тут была та же картина, что и в кузнице: крыша еще не покрыта, а формовочные машины уже установлены, и возле них Корнаков — с видом победителя — рассказывал что-то человеку в очках. Человек сверкал очками и записывал слова Корнакова в

записную книжку. Это открылось паломничество журналистов, газетчиков.

Каневский подошел ближе.

— Вы представляете теперь: земля поступает сюда, в бункерную галлерею. Теперь цикл работ: первое — формовочная машина, второе — сборка на рольгангах, третье — передвижка по рольгангам к залу заливки, четвертое — заливка, пятое — передача — рольганговой тележкой — в зону выбивки, шестое — выбивка.

К формовочной машине подошел парень в тельнике. Он потянул за ручку бункера, наполнил опоку землей, со стуком встряхнул ее — пневматика затрещала при этом пулеметом — спрессовал и, вынув литник из земли, поставил опоку на рольгант. Журналист подошел ближе.

— Станок Никельса, — пояснил Корнаков.

Формовщик снова схватил пневматический рукав и обдул воздухом модель. Земля полетела брызгами, задев щеку журналиста. Тот поправил очки, маскируя испуг.

— Но это все — вещи, понимаете. Мне надо было бы о людях... Ну, там — борьба, подъем. Знаете, это самое...

Корнаков с минуту изучал кепку журналиста, курчавые его бакены, очки.

— ...О людях. Ну, тут в двух словах трудно... Нет, кран Шепперта я все же должен вам показать: только что не говорит. Любимец всего цеха! Да, так о людях. Кого бы вам указать? Вот Маничев, технорук, пятьдесят лет на производстве. С утра до ночи в лаборатории. Видали там, у бегунов, табличку? Каждые четверть часа вывешивается анализ земли. От этого во многом зависит работа чугунолитейного. Маничев внес в лабораторную работу такую четкость...

— Но, понимаете, это же все в общей форме. Вы мне дайте образный материал. Ну, понимаете, эпизод. Эпизод борьбы с трудностями.

— Эпизод борьбы...

Корнаков задумался. Корреспондент взглянул на часы.

— Или лучше назовите мне людей; я сам с ними потолкую.

— Вот это лучше. Ну, кроме Маничева назову вам Сизова. Это — рабочий, модельщик. Конструктор ковочной машины. Инженер-практик. По сталелитейному поговорите с Локтевым. По деревообделочным работам большую пользу принес нам Леонардо, итальянец. Вот бы с ним вам интересно...

— Дальше.

— Дальше: по водоснабжению ударно работает Каневский, старый инженер...

Но тут Каневский, пятась, отступил за бункерную галерею и спасся бегством.

38. ДВА ГАРМОНИСТА

Умирающий сугроб снега был заржавлен кирпичной пылью. В конце пустыря леса повисли в небе ажуром: строился дом.

На гармонистов вяло наседала толпа: мальчишки, женщины с мерзлыми рыбами в кошелках; рыбы торчали, как белые мечи, хозяйки ревниво охраняли их рукавом.

Фирсов подошел ближе. Гармонистов было двое. Один сидел на фанерном чемоданчике — спиной к Фирсову. Другой — чернявый, стоя растягивал баян и шарил по толпе глазами-бусинками. Пели они по очереди, куплетами.

Чернявый затынул:

Не прошу, чтоб на мне ты женился,
Не прошу, чтоб любил ты меня,
А прошу, чтобы с глаз моих скрылся,
Чтоб не видеть мне больше тебя.

Женщины с рыбами торопились растрогаться. Им было некогда, дома ждали примусы, время у них было считанное.

Но тут второй гармонист, поднявшись, повернулся к слушателям с актерской лихостью. Фирсов увидел знакомый глаз, стружку золотых волос из-под телячьей, заломленной на ухо фуражки. Титков!

Титков подтянул голенище сапога, поставил ногу на чемоданчик и запел.

Фирсову стало не по себе, он спрятался за спину рослого человека в стеганой куртке. Но человек, дыша спиртом, повернул голову, и над его плечом, над клочком ваты в порванной его куртке Фирсов увидел взгляд Титкова.

Мой последний обряд —
Последний взгляд,
Брошенный

В этот мир, непомерно широкий...
Я, до дыр изношенный,
Уйду в смерть — одинокий.

Гармонь взвизгнула, не справившись со скачущим мотивом. Когда наступила очередь чернявого, — он запел про бедную девочку и мутные волны реки.

Фирсов, мучаясь от растущего чувства неловкости, отошел в сторону. Издали он видел, как, кончив петь, гармонисты начали совать слушателям розовые листки, — очевидно, со стихами, спетыми перед тем. Толпа поспешно разошлась, — раздача листков грозила тратами в неизвестных размерах.

— Алеша, — подошел Фирсов к Титкову, — что это ты делаешь?

Титков поправил гармонь, висевшую у него на ремне через плечо.

— А, Фирсыч, — протянул он равнодушно, — как прыгаешь?

— Слушай, неужто это теперь... ну, как бы сказать, твоя специальность?

— А чем плохо? — спросил Титков, с неохотой оглядывая небо.

Он закурил папиросу и небрежно кинул:

— Я вольная птица, не жалея меня, Фирсов!

— Это ты свои стихи и пел сейчас?

— Ага. Не печатают, так я на улицах... А то еще — в пивных. На свадьбы тоже приглашают.

— Ведь это что ж такое! — удивился Фирсов. — Надо что-нибудь придумать.

— Можешь не придумывать. Мне заработка хватает. С одних вечеринок да свадеб... Верно, Ленечка? — обратился он к чернявому.

Тот передернул плечами.

— Я не про заработок... — сказал Фирсов.

— А про что? Укорить меня хочешь? Про строительство рассказать?

— Нет, зачем я тебе про строительство буду рассказывать...

— Можно и песней строить. До этого ты не додумался, Фирсов?

— Смотря, какой песней.

Титков швырнул окурок, сплюнул, помолчал.

— Идем-ка, Леня, — позвал он чернявого, — нам в другую сторону. Какая б ни была моя песня, — повернулся он к Фирсову, — а не тебе судить. Я ушел с завода по злобе на Верейникова и на тебя. Можешь считать, что наша ссора продолжается.

— Да брось ты, Алексей! — крикнул Фирсов и замолчал.

Телячья фуражка Титкова удалялась по мостовой со злобной решительностью. Чернявый гармонист бежал за нею, силясь догнать.

39. ЦЕХ В СТРОЮ

Как-никак, это был праздник.

Вступил в строй работающих цехов сталелитейный. Это была переломная дата в истории завода, теперь ему уже не придется ждать стального литья со стороны и переписываться о нарушении сроков поставки.

К моменту пуска в сталелитейном столпились гости: секретарь райкома, уполнаркомтяж, делегаты от ударников всех цехов, партком, завком.

Из будки сталевара выглядывает исступленное лицо Талызина. Бросив кнопки сигналов, он выбегает в литейный зал.

— В чем дело? — накидывается он на Локтева.

— Непонятно, товарищ Талызин, — все время даем полный ход — и...

Талызин бежит в машинную. По дороге он получает от секретаря райкома благодушный удар в спину:

— Давай, хозяин, давай!

В машинной вздрагивает красная надпись: «Х о д». Корнаков в волнении открывает кожух турбины. В то же мгновение он теряет понимание окружающего. Вихрь ударяет его о Талызина и швыряет обоих в закрытую дверь. Дверь стремительно открывается, и Талызин с Корнаковым оказываются в литейном зале. Движения их кажутся гостям несколько странными: оба сгибаются к земле, шаря по ней руками. Гости, впрочем, спокойны: должно быть, так полагается.

— А ну, хозяин! — кричит опять секретарь райкома.

Талызин в эту минуту ненавидит его за благодушный, возмутительный голос.

— Портач, — шепчет главинж Корнакову с яростью, — инженером себя считаешь, портач!

— А я требую... я т-требую, чтоб ты ушел! Не суйся не в свое...

— Кожух на ходу раскрываешь? А?

К ним подходит Рилль.

— В чем дело?

— Несмотря на полный ход, дутье поступает слабо.

Рилль идет в машинную. Машинист уже выключил мотор. Кожух машины закрыт. Талызин пристально смотрит на Корнакова, тот отворачивается утрюмо.

— Перекос в муфтах?

— Ликвидировано.

Начстрой спокойно выколачивает трубку и прячет ее в карман. Он обходит машинную, — маленькую, сияющую белизной комнату с двумя агрегатами.

Начстрой пробует рукой ремни.

— Слишком свободны. Оттянуть на тележке! Вот и все.

Сыромятная кожа растянулась за ночь. Никто этого не заметил.

Через двадцать минут над Бессемером растет белый огонь. Из будки сталевара выглядывает красное лицо главинжа.

Секретарь райкома о чем-то догадывается. Поэтому он подходит к будке поближе и, напрягаясь, широко раскрывает рот. К главинжу сквозь рев огня пробивается его крик:

— Молодец, хозяин! Минута в минуту, по-американски.

— По-большевистски? — спокойно поправляет его Рилль.

Секретарь райкома снова кричит, раскрывая рот. Главинж, нажав кнопку «т и х о», высовывается в окно.

— Рилль, — кричит секретарь райкома, — Рилль...

— Что?

— Рилль... поправляет — по-большевистски!

Как-никак, это был праздник. Основные цехи первой очереди были готовы.

В обширном президиуме конференции Каневский видит рядом с собой Маничева из чугунолитейного и Полуярова из механического цеха. С непривычного для себя места он смотрит в зал и, чтобы успокоиться, начинает считать знакомые лица: Корнаков, Леонардо, Локтев, Абрахманов, Павша, землекопы и бетонщики водозабора, инженеры, прорабы, строители...

— Слово предоставляется товарищу Талызину.

Зал гудит.

Это усиливает волнение Каневского. Вот и ему придется выйти на эту трибуну. Но тема его будет трудней, чем у Талызина. От одной мысли об этом сердце у него начинает биться у самого горла, и руки дрожат мелкой дрожью. Должно быть, такое состояние бывает у выдохшегося атлета, обреченного поднять вряд ли посильную для него тяжесть. Успели прочесть Сидорин дневник, переданный в партком «для направления, куда следует»?

Каневский сразу успокаивается. Пути все отрезаны, и в конце концов, может быть, не так важно, что будет с инженером Каневским?

— Слово — товарищу Борщевскому.

Товарища Борщевского Каневский видит в первый раз. По наклоненному вперед туловищу, вывернутым локтям, упершимся в трибуну, в Борщевском виден опытный оратор. Его толстое лицо не нравится Ка-

невскому. Он говорит о реконструкции людей. Он говорит о том, что не все цехи можно было перестроить по-новому; некоторые из приземистых старых зданий оказались годными только под склады. Он строит какую-то параллель, прозрачное сооружение, — для перехода к человеку. То есть к Каневскому.

«Склад, складывать, кладбище», — думает Каневский.

Мертвое нужно отсечь, чтобы оно не заразило группным ядом здоровые ткани. Но почему же другие могут жить с мертвым грузом прошлого, — ходить на службу, в театр, смеяться, обедать? Таких много вокруг, они есть и в этом зале. Вчера Поляков, инженер из заводоуправления, сказал с усмешкой: «Им награды, а нам дульки с квасом?»

Взгляд Каневского бродит по залу и упирается в лицо Леонардо. Итальянец смеется, снимает свой шарф, чувствует себя вполне в своей тарелке. Рядом с ним сидит щекастая курносая девушка. Леонардо берет ее за руку, лицо у девушки становится сосредоточенным.

«Склад, складывать, кладбище», — думает Каневский. Но ведь склад тоже выполняет полезную роль. Хотя и пассивную. Он хранит чужие ценности, вещи, созданные другими. Если Сидорин еще не успел прочесть дневника... Но президиум конференции — не подходящее место для размышлений. Борщевский кончает свою речь. Он, вероятно, довел до конца начатую параллель, Каневский не слышал его заключительных слов.

На трибуне Леонардо. Зал гудит поощрительно.

Нет, после итальянца будет трудно выступить. И — надо сосредоточиться.

Каневский выходит из-за стола президиума, идет за кулисы, путается среди зыбких декораций, каких-то

фанерных щитов и выходит на двор. Перед ним сталелитейный цех колыхает треугольными полосами красной материи. Они выстроились рядами на его крыше, натянутые, как паруса. Похоже, что цех готов к отплытию. Полукружия его пролетов взмахами летят в небо. А поодаль старые цехи с готической архитектурой, — чья стилевая установка полет в небо, — стоят сутуло и потерянно.

Из клуба выходит группа людей. Каневский вытаскивает спички и делает вид, что вышел на минутку — закурить. К нему за огнем подходит Фирсов и, прикурив, останавливается неподалеку. Он разговаривает с высоким человеком о вещах, как будто очень далеких от пуска завода.

Каневский вдруг чувствует тоскливую боль. Как хорошо было бы очутиться далеко отсюда; он не учел своей непривычки к этому огромному, залитому электрическими огнями многолюдью.

Фирсов с оживлением и охотой рассказывает высокому о Титкове.

— Да вот он письмо мне прислал! Где оно... сейчас найду.

И Фирсов читает вслух:

— «Друг Фирсыч! Вот какого рода вещь: а ведь я опять работаю на производстве. Только уже не бракоделом. Моя бригада мной довольна. Так что почувствуй я недолго.

Да штука не в этом. Правду сказать, как только я уехал подальше от вас — от тебя, Петьки и других ребят, — все вы представились мне вроде совсем в новом свете. А заодно и я сам. Чего я у вас там выкозюливал, — вспомнить удивительно. Секретарь нашего комсомола, товарищ Гуревич, говорит: «Это у тебя проявлялось упадничество, как влияние классово-враждебных элементов». Товарищ Гуревич сильно

начитанный парень, но только я думаю: в этом деле он говорит плешь. Я такой: мне надо до всего дощупаться своими руками, или, иначе сказать, набить шишки на голове, чтоб узнать, что к чему. Набил я себе шишки и со стихами. Однако я их не бросил. Только пишу теперь по-другому. Помнишь, ты говорил про электросварку?

Дела!
Электросварка
В дыхании жарком,
Раздавлив предрасудков мостики,
К нам не робкой гостьей,
А хозяйкой властно бошла.

Так, пожалуй, лучше.

Я женился, друг Фирсыч. Моя Нинка очень хорошая. Я изменился к женщинам. Раньше у меня было к ним отношение, вроде как у Митьки Дерябина, который говорил: «У меня к женщине нет любви, а одна мания».

Только когда я думаю, что я изменился из-за женитьбы, — я себя не уважаю.

Я себя не уважаю еще за то, что неэтично держался с Матвеем Кашицыным. Он написал письмо в вашу редакцию и передал мне. И оно провалялось у меня в кармане до сегодняшнего дня. Хоть и поздно я пересылаю его тебе. Впрочем, ясное дело, что Кашицын обошелся без меня.

Я не каюсь, Фирсыч, а только вспоминаю о шишках, которые я набил у себя на лбу.

Твой Ал. Титков.

Моя Нинка прочитала это письмо и сказала: «Подсчитай, сколько раз ты написал слово «я». Она умная, — может, даже умней меня, и это, конечно, лишнее.

А. Т.»

— А вот и письмо Кашицына, — говорит Фирсов:

— «Дорогие редактор и корреспонденты!

Вчера вечером строитель Андрей Зайцев поделился со мной воспоминаниями своей жизни. Сколько-то лет тому назад он, как будучи обеспечен мелкими детьми, а хозяйство кволое, поступил батраком на хутор к некоторому мукомолу. И как прошло столько лет с той поры, то он приглядывается в механическом цеху к рабочему Ивану Малышеву и все боится признать в нем того самостоятельного мукомола. Только я так понимаю: врагу у нас некуда укрыться. Допустим: он еще мечтает о несбыточном, а рабочий глаз его, возможно, нащупал. Конечное дело, требуется контроль. Однако — секретно: Малышев, ох, он премудрый, он может вывернуться, проще сказать: облапошит, кого следует. Поэтому прошу, товарищ редактор или корреспондент, проверьте мою статью по фактическим данным, узнав с места жительства. А я составлю в скором времени стих под началом:

Вот Малышев Иван, мукомол-кулак,
Советской власти он неперемный враг.

М. К а ш и ц ы н.

Общее житие строителей, барак № 2».

— И что ж после было?

— Ну, Малышев еще до этого свое получил, — говорит Фирсов, пряча письмо. — А Кашицын к весне вернулся в колхоз. Теперь все пишет письма на завод.

Все это так далеко от сегодняшней конференции, что Каневский чувствует раздражение и отходит в сторону. Только вчера он передал свои записки в партком, — со вчерашнего дня прошла вечность.

На расчищенном от строительного мусора месте — тесное людское кольцо. В кольце жужжит лезгинку зурна. В Закавказьи можно услышать гармошку, а сазандари выступают в Москве.

В людском кольце плавают человек с расставленными руками.

Из толпы к нему выскакивает другой, затаенный, со сросшимися черными бровями.

Крутом сочувственно ахнули:

— Батьян! Батьян!

Батьян кружится под хлопанье ладош.

Такт становится быстрее, зурна жужжит разозленной пчелой.

— Ассэй! Ассэй!

— Верейников! Давай, Верейников.

Верейников, поволновавшись, выходит в круг. Он пляшет лихо; изгибается, вертится вокруг самого себя, трясет штанами. Но кавказской сноровки — неподвижного корпуса при бешено пляшущих ногах, — той неподвижности, при которой плечи все-таки пляшут еле приметными вздрагиваниями, — такого щегольства у него быть не могло.

Невысокая девушка сменяет Верейникова под одобрительные крики.

У сталелитейного цеха уже зажегся фонарь.

Каневский, вздохнув, уходит к клубу.

— Магази́н закрывается! — кричит веселый голос, и зурна затихает.

Навстречу идет Талызин, широко улыбаясь.

— А, вот он где, Каневский-то! Выступать будете?

— Буду.

— Тогда — пожалуйста бриться. Пора.

Каневский бросает папиросу и идет в клуб — через боковую дверь.

Он снова проходит мимо натянутых на рамы полотняных лохмотьев и фанерных щитов.

Чахлая лампочка скупо освещает лабиринт.

Каневский задевает плечом груды декораций. Сзади что-то рушится, и шум кажется ему оглушительным.

Зал встречает его электрическим заревом и многолюдием, от которого ему не уйти.

40. ОТЪЕЗД ЛЕОНОВОЙ И ЗАВБИБ МИША

Последний, с кем прощается Елена, — Миша, ее брат. Это маленький кудрявый озабоченный человек. Он озабочен библиотекой.

Миша спит на книгах, в помещении библиотеки сельскохозяйственных рабочих, — у него нет ни кровати, ни подушек.

У него мало свободного времени, весь досуг он посвящает борьбе с начальством. Начальство провело неправильно изъятие книг; в число изъятых попала «Ярмарка тщеславия». Правда, Теккерей писал свой роман для терпеливого читателя, — слогом, неспешным, как современный ему дилижанс. Но Миша уважает эту книгу — за переплет и возраст. Сверху капает вода. Потолок затек сыростью и тихо поплевывает на сложенные штабелями книги. Угол потолка похож на повязку от раны.

Каждый день Миша возобновляет враждебные переговоры с завхозом. Завхоз изучает взглядом мокрый потолок, отхаркивается и уходит, роня неопределенные обещания. Вялость завхоза пробуждает ненависть Миши завбиба, и он смотрит на затекший угол потолка глазами раненого.

Сестру он встречает рассеянно и подает ей табурет, покрытый брошюрой. С брошюры грозитесь искаженным взором корова: рот ее раскрыт в яростном мычании, глаза дико вывернуты в сторону.

Елена смеется: Миша все тот же.

— Это изображение коровы — контрреволюционно, Миша.

— Переезжаем, — мрачно говорит брат. — Как будто верно: переезжаем. Но я им еще покажу!

— Я тоже уезжаю — на Дальний Восток.

— Не плохо.

Миша сосредоточенно рассказывает о новом помещении для библиотеки. Это — у скачек, недалеко от

Петровского парка. Там — вздыбленные кони на воротах, ветер с поля и вольный говор самолетов в просторном небе. И комната с кроватью.

— Тоже не плохо, — произносит Елена.

— Да мы с тобой ведь умеем устраиваться в жизни, — серьезно говорит брат.

Маленький, кудрявый, — которому она в детстве застегивала штанишки, — он так и не растрогался на прощанье.

А он был последний, с кем Елена виделась в Москве.

Вечером она входит в коридор дальневосточного экспресса. Коридор сумрачно блестит металлом и линолеумом, — тусклый и длинный, как дуло орудия.

Елена глядит в окно и слушает, как потерянно бьется сердце.

Но она знает: это не навсегда.

Жизнь продолжается.

41. КОГДА ПРОСЫПАЕТСЯ ГОРОД

По голосам стала слышна городская ночь.

Зов паровоза пробился в город зигзагами затихших улиц; колеса поезда прошумели издалека, шум был бархатистый от расстояния, — притглушенный шопот колес походил на говор сосен и ветра. И в неизмеримой дали лег на горизонте зеленый рассвет, узкий, как шпага.

От голосов больших вещей ночная тишь разливалась шире, возникала предутренняя сосредоточенность; город спал, и был слышен сонный его пульс — стук его поездов, задавленный днем болтовней улиц, редкие гудки — гудки спросонья, — пульс города был слышен; город спал, и зеленый рассвет вырастал над ним легким шатром.

Это потому, что где-то ворожат белые ночи.

И — отголосок их в Москве — ночью, в час пополуночи прорезывается в небе зеленая шпага рассвета.

В сером шелку приподымается глухое утро.

Мимо оглохших домов, равнодушно разрывая шелковую паутину молчания, гремят бронетанки. Они ни с чем не сравнимы. Даже с бронированными зелеными черепахами. Они сами по себе: сравнение было бы незаконномерным.

Бронетанки гремят один за другим — вереницей, и проснувшийся на углу извозчик смотрит на них с вялым желанием удивиться. Но где-то колдуют белые ночи, зеленый рассвет легок и призрачен, в предутреннем сером шелку небывалое кажется обычным, — извозчик чешет кнутом спину и рассматривает рыжие свои сапоги.

Но необычное не исчезло.

Из переулка — правое плечо вперед — выходит колонна солдат в касках, в серых мундирах с погонами; лейтенант с моноклем в глазу щелкает стэком по лакированным крагам. Беззвучный оркестр просовывается вперед, — серые туловища людей сдавлены медью инструментов. Оркестр приближается к двухэтажному дому оливкового цвета. Дом — интернационален. Он мог бы существовать на окраине Берлина, в предместьи Парижа, в трущобах Лондона. Серые трещины зияют в его стенах. Покосившиеся окна прорублены по фасаду вразброд, без симметрии, без заботы об эстетических вкусах прохожего. И косая под ними легла на оливковой стене вполне грамотная немецкая надпись: «Zum rummen Hund».

Извозчик проснулся окончательно и от непонятности происходящего даже обиделся.

Под немецкой вывеской раскрывается дверь, на тротуар выходит расстроенный человек в жилетке, с котелком на затылке. В окне появляется толстая нарядная немка. Высунувшись в окно, она угрожаю-

ще подпирает голыми руками бедра. Человек в котелке смотрит на ее руки с сокрушением.

— Такого даже и не предвиделось, — растерянно говорит Каневскому возникший откуда-то парень, залитый известкой.

Но клетчатый человек уже устанавливает в стороне треногу и смотрит в небо, ожидая дальнейших шагов рассвета. Потом он обращается к лейтенанту:

— Ваня, в бутылку полезем. Полезем в бутылку, а проведем ударно, до начала трамваев.

— Снимать будут, — заявляет извозчик, радуясь, что непонятное кончилось.

Клетчатый человек возится с киноаппаратом.

До трамваев еще далеко.

Но ночь кончилась.

Каневский садится в пролетку извозчика.

Он снова разворачивает газету. Крупные буквы ясно видны.

«Занесены на доску почета:

.

Главинж, т. Талызин Ю. П.

Бетонщик, т. Вереяников П. И.

.

Начальник строительного участка т. Каневский Г. И.»

Газетная колонка за минувший день хорошо изучена.

Каневский смеется и смотрит вверх. Над крышами зеленеет небо.

Извозчик оборачивается:

— Образованные люди: пьют до утра, а виду не теряют, — говорит он с одобрением.

Впереди видна башня вокзала.

Бульвар пахнет влагой и тополями.

Это весенний запах. Вот почему он так прочно связан с человеческими радостями.

42. ВМЕСТО КОНЦОВКИ

Мимо здания ОКСа, модельного цеха, будки ОГИЗа по пыльной дороге Корнаков выходит в поле.

Возле буровой вышки он встречает Гаю Сизову.

У домишек, покрытых предсмертной серостью, ходят люди. Они отрывают хилые доски. Доски ржаво всхлипывают. Ломаются, визжа, старые гвозди. Непросыхающие гирлянды белья убраны. Женщина привязывает к шее плюшевой козы лохматую веревку.

Двое рабочих, ворочая ломами, начинают снимать крышу с крайнего домика. Тяжелая пыль золотится на солнце.

На бугре, засунув руки в карманы пальто, подняв воротник, стоит инженер Каневский.

— Георгий Иосифович, чего вы тут ворожите? — кричит, смеясь, Корнаков.

— Вчерашний день умирает, — говорит Каневский рассеянно и поводит плечами.

Сергей Корнаков и Галя Сизова проходят мимо него.

Впереди, взмыленные весной, в зеленой пене стоят деревья. Поспешно наливается сиреневая тучка, падают первые капли. Галя схватывает Корнакова за руку. Но немощный дождик плачет всего несколько секунд и даже не может прибить пыль на дороге.

Солнце косо ударяет в сосновый забор завода.

— Чудак Каневский! Все философствует, — говорит Сергей Корнаков. — Завтра начинаем вторую очередь работ. Видишь этот домишко? Сегодня там...

— Кто — чудак? — не слушая, спрашивает Сизова.

— Каневский.

По дороге в пустой телеге едет парень в распоясанной зеленой рубахе. На рубахе тускло блестят красные пуговицы, как кровь на траве.

Навстречу идет старуха-цыганка. Шлейф из пыли тянется за ее подолом, пестрым и пышным, как ситцевое одеяло. Она держит в зубах потухшую черную трубку.

— Разве цыганы курят трубку? — радостно кричит парень в телеге.

— Курят, — подумав, отвечает старуха.

Она пылит мимо, замечая дорогу коричневыми сухими ногами.

Корнаков держит руку Гали Сизовой — круглую руку с холодноватой жесткой ладонью.

Галя поет вполголоса: «Ты жива еще, моя старушка».

Небо пламенеет перед ними, безмолвно бушуя.

Река становится розовой.

Сергей оглядывается.

Косые лучи, ликуя, бьют в сосновый блистающий забор. Над забором впаяны в горизонт заводские трубы. За восемь месяцев число их удвоилось.

Издали завод кажется завершенным целым.

И только криво, наспех сколоченный забор, сверкая на солнце новыми досками, говорит о том, что работы еще не закончены.

Галя поет: «Ты жива еще, моя старушка».

Корнаков слушает и не может вспомнить, где он раньше слышал эту песню.

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Прибытие Фирсова.	5
2. Итальянец и корова.	12
3. Вечера инженера Каневского. Разговор с Мефистофелем.	18
4. Тем не менее любовь существует.	24
5. О Корнакове, Маничеве и старой литейной.	31
6. Дубин-Корень.	38
7. Поездка в Подгорное и встреча с поэтом Матвеем Кашицыным.	43
8. Поэзия как невзгода.	46
9. Продолжение разговора с Мефистофелем.	59
10. О чем трудно писать.	64
11. Говор труб и язык цветов.	72
12. Чужие в цехе.	74
13. Главинж.	78
14. Плита его высочества.	85
15. Враг у рабочих барачков.	91
16. Лирическое отступление. Пейзаж Бессемера.	100
17. Встречи.	108
18. Необыкновенный день профессора.	118
19. Письмо в Париж.	127
20. Приказ 123 и клубные наблюдения инженера Каневского.	129
21. Записки кижевца.	139
22. Диалог в вагоне.	144
23. В гостях у гиганта.	148
24. Возвращение Каневского.	160
25. О путанице чувств.	164
26. Рассказ о Перцове.	172
27. Объяснение с рецензентом.	180
28. Сегодня и завтра в литейном деле.	182
29. Проводы Лорана.	185
30. Жизнь на дне реки.	187
31. Ссора.	196

32. В доме с колоннами.	199
33. История одной прогулки.	203
34. Справка о людском равнодушии.	207
35. Знакомые читателю лица.	212
36. Поведение Корнакова.	217
37. Каневский кричит.	221
38. Два гармониста.	226
39. Цех в строю.	229
40. Отъезд Леоновой и завбиб Миша.	237
41. Когда просыпается город...	238
42. Вместо концовки.	241

Ч И Т А Т Е Л Ь !

Сообщи свой отзыв об этой книге,
указав возраст и профессию, по ад-
ресу: Москва 9, Б. Гнезниковский
пер., 10. Издательству «МОСКОВ-
СКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСА-
ТЕЛЕЙ».



**МОСКОВСКОЕ
Т-ВО ПИСАТЕЛЕЙ**

**ИЗД-ВО: Москва, Ф. Б. Гнед-
никовский пер., 10**

КНИЖН. МАГ.: ул. Горького, 12

цена 2 р. 50 к.
переплет 75 к.